

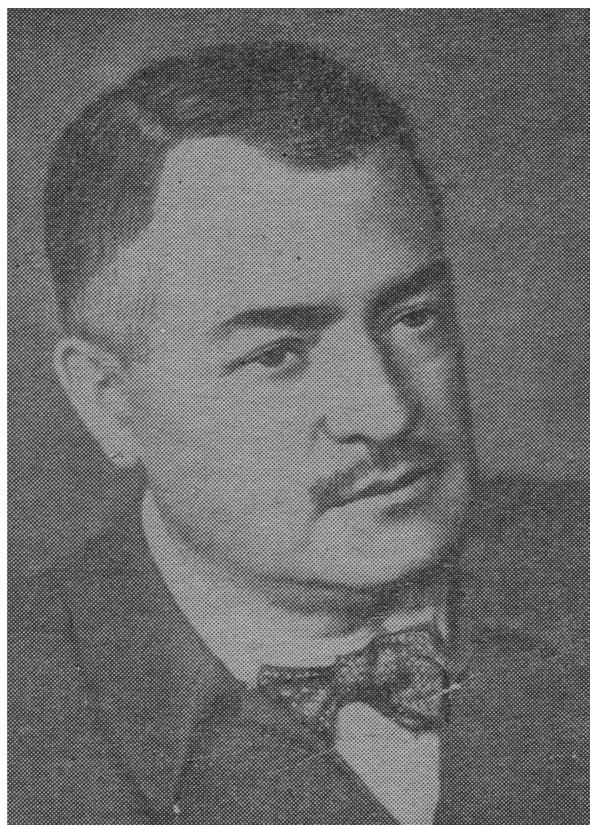
Н.А. Крашенинников  
*Невозвратное*













Н.А. Крашенинников

# *Невозвратное*

Уфа  
Башкирское книжное издательство  
1987

84Р7  
К-78

Подготовка текста *Н. Н. Крашенинникова*

**Крашенинников Н. А.**

**К-78      Невозвратное. — Уфа: Башкирское книжное из-  
дательство, 1987. 176 с.**

Книга воспоминаний о своей юности известного писателя Н. А. Крашенинникова (1878—1941).

К  $\frac{4702010200 - 143}{М 121(03) - 87}$  119 — 87

84Р7

© Башкирское книжное издательство, 1987.

Где ты, время невозвратное  
Незабвенной старины?  
Где ты, солнце благодатное  
Золотой моей весны?  
Как видение прекрасное  
В блеске радужных лучей,  
Ты мелькнуло, самовластное,  
И сокрылось из очей.

ПОЛЕЖАЕВ.



## ИЗ ВЕШНЕГО ВРЕМЕНИ

### ПРИЕЗД В ДЕРЕВНЮ

Старшему брату Саше было около восьми лет, когда умер отец. Все трое мы были погодки, так что самый младший, Володя, совсем не помнил ничего из нашей первой московской жизни.

После похорон отца мы прожили в Москве недолго и, вызванные родными, выехали с матерью в наше захолустное имение в Оренбургский уезд. В то время проживала там тетка Анфиса вместе с своим отцом, нашим дедом со стороны матери, когда-то блестящим гвардейским офицером, затем небезызвестным ученым натуралистом и в конце жизни — помешавшимся хилым стариком.

Переезжали мы из Москвы с прислугой: поваром Фролом, лакеем Федором и нянькой Агафоновной, которая за свою долголетнюю службу (она вынянчила и нашу мать) считалась нами за члена семьи.



От Агафоновны и Фроламы много слышали о великолепии прежней дворянской жизни, о красоте нашего дома и о былом богатстве предков... И немало же были мы поражены, увидав, по приезде в имение, длинное, обливное, потускневшее здание, с колоннами и полуразвалившейся террасой, с огромными окнами, рамы которых состояли из бесчисленного множества перегородок, с кое-где побитыми зелеными пузырчатыми стеклами. Тесовая крыша, когда-то, должно быть, красная, печально бурела и прогнила во многих местах. Стены дома, некогда хорошо выштукатуренные, потрескались, покосились и на углах обнаруживали дубовые бревна, правда, огромные и чудесно сохранившиеся.

На крыше каркали вороны и галки; весь двор зарос лебедою и цветущим репейником, поднявшимся на саженную высоту.

Тревожным унылым запустением веяло от помещичьего жилья, в котором некогда ключом била веселая, беспечная жизнь, а теперь тихо доживали свой век сумасшедший старик и одинокая тетка...

Саша и я выскочили из тарантаса, еще не доезжая до самой усадьбы, и на двор дома вбежали раньше, чем въехал экипаж.

Для нас, живших в большом городе, многое казалось удивительным, а многого мы никогда и не видывали. Так странно было чувствовать себя в зеленом просторе деревни после каменной Москвы.

Прежде всего почему-то наше внимание привлекли к себе серые кособокие ставни дома; они были покрыты засохшими смоляными каплями и унижены красивыми гнездами ос, летавших там и сям в летнем солнце по траве. Какое солнце было золотое, какое золотое!..

Ставни мы осмотрели внимательно, а потом побежали между высоким как лес репейником к службам дома, таким же старым и обесцветившимся, как было старо и сено наше дворянское гнездо.

За службами тянулся вязовый и осокоревый лес; так гудел он под редкими облаками, плывшими, казалось,

по его головам; кричали галки немолчно и задорно; а подле самых ворот высились две громадные, старые как земля березы, необъятной толщины, недосыгаемой высоты. Тучи горлиц, вяхирей, клинтухов сидели возле сараев и приветливо ворковали.

— Смотри, голуби! — радостно крикнул Саша и побежал на них.

Но дикари перед нами не разлетались. Они слишком были дики, чтобы бояться. Только взмахивали они сизыми крылышками и неспешно разбегались по траве. Может быть, они понимали, что мы безопасны? Или они нас и не считали за людей?

Но было перед глазами так много нового, что долго останавливаться хотя бы даже на таких чудесных птицах было нельзя... Мы направились к каретнику, и из старых дверей его медленно выползла нам навстречу черная исхудалая кошка, с печально-блестящими глазами травяного цвета. Кошка мяукала голодным голосом, но когда мы захотели взять ее под свое покровительство, стала так кусаться и царапаться, что единственным спасением было бежать.

В сараях находилось так много удивительных вещей, что мы не скоро вспомнили, что еще не поздоровались ни с дедом, ни с тетей Анфисой. Надо было идти в дом, и нас звали на все голоса.

На террасе уже шипел самовар, и собралось все общество. Очень нас заинтересовал дед, высокий старик, бритый и морщинистый, с седыми клочьями волос на лбу, одетый в темный ватный халат. Он постоянно жевал губами и потряхивал головой. Заметив нас, он спросил у мамы:

— Мамочка, это они?

И, получив утвердительный ответ, вдруг ни с того ни с сего сделал угрожающее лицо и, постучав по столу пальцем, заделанным во что-то серебряное, проговорил строго, почти со злобой:

— Смотрите вы у меня!

Мы взглянули на него удивленно... потом испугались.

Самый маленький, Володя, приготовился заплакать. Заметив это, мама обратилась к помешанному и сказала ласково:

— Папочка! Да ведь это мои дети!

Дед посмотрел на нее внимательно, точно соображал что-то. Потом перевел глаза на нас, усмехнулся (все лицо его просветлело) и сказал:

— Дети? Ах, да, да!.. Подойдите, подойдите, у меня есть бульдегом\*.

Он торопливо вскочил со стула и, отдуваясь, стал шарить в карманах халата, после чего в самом деле вынул несколько леденцов и подал нам их на ладони левой руки.

Мы подошли к деду смущенно и никак не решались взять у него конфеты. Не решались потому, что на левой руке у деда было всего четыре настоящих пальца, — это повергало нас в ужас. Один был серебряный, им-то он и стучал.

После мы узнали, что палец деду отпилили доктора; занимаясь изготовлением птичьих чучел<sup>1</sup>, он заразил трупным ядом мизинец, который и пришлось отнять.

Заметив нашу медленность, старик поспешно положил леденцы себе в рот и проговорил с каким-то злорадством:

— А, вы не хотите?.. Сам съем! Сам съем!

И во все время чаепития глядел на нас исподлобья сердитыми глазами.

Мы поспешили осушить свои чашки и теперь, уже трое, побежали снова на двор. Следуя вдоль загороди, мы скоро пробрались к заднему фасаду дома и попали в цветник.

Впрочем, с цветником осталось очень мало сходства у того песчаного четырехугольника, на котором жалко и

---

\* Бульдегом (франц.) — букв. резиновые шарики, здесь употреблено в значении — жвачка.

<sup>1</sup> У него была ценная коллекция чучел всевозможных зверей и птиц, под конец его жизни пожертвованная им Оренбургскому Николаевскому Институту. (Примеч. автора.)



слепо смотрели запущенные клумбы. Цвели на них незабудки, может быть еще помнившие о былой красоте сада; пестрела резеда, две-три георгины поднимали свои ярко раскрашенные головки... Везде, точь-в-точь как во дворе, разбежалась лебеда да полынь... И жалко выглядели среди горькой травы красивые бутоны заброшенных цветов.

В таком же запустении пребывал и сад; только вширь и ввысь разрослись когда-то подстригавшиеся кусты акации, сирени и жимолости; из-за ветвей барбариса, черемухи и бузины кое-где печально выглядывали гипсовые статуи греческих богов, которым деревенские мальчишки, по обычаю, исстари заведенному, обломали руки и головы; подле грота, покосившись, стоял Купидон, весь опутанный хмелем; еще какой-то бог, весь позеленевший, лежал в непролазном кустарнике, и смешно и страшно улыбалось в одичалом садике его уродливое лицо. Бежим дальше по затененным, слово плачущим аллеям мимо лежащих на траве трех крестьянских мальчиков, которые смотрят на нас исподлобья, угрюмо и недоверчиво, — настоящие заговорщики. Не они ли это искалечили богов?..

Когда-то холеные аллеи заросли подорожником; поваленные бурей и порубленные деревья загромаждают нам путь; скучно и однообразно тянутся перед глазами сплошные ряды репейника и полыни; колючая чилига перепуталась с дикими бобами и волчьими ягодами... Старинные ров и вал, окружавшие некогда сад, почти совсем сровнялись с землею.

Подбегаем к пруду. Уж давным-давно зарос он белыми и желтыми лилиями и зацвел от бодяги и еще каких-то розовых цветов. Нам очень хочется нарвать лилий, но кто же не знает, что эти цветы принадлежат русалкам, которые за каждый лепесток лилии требуют в выкуп человеческую душу? Нет, мы на это не согласны!..

— В этом озере будем удить карасей! — говорит Саша.

Мы склоняемся над заросшим берегом: нет, рыбы

не видно: ни карасей, ни линей золотистых; только мокнут в пруду лубки да коряги, и это зрелище наводит на нас печаль.

От пруда мы обращаемся к беседке. Ну, как еще держится она на земле, такая старая!.. Сквозь деревянную сетку ее видно, что всего в ней убранства — повалившийся стол да трехногая скамья; но там, в углу, чернеет что-то большое. С опасливым любопытством подходим мы ближе, и внезапно оттуда с ревом выбегает черный теленок. Подняв хвост трубой, он летит по саду, чем-то напуганный насмерть; а вместе с теленком исчезаем из сада и мы.

Все не хочется еще входить в комнаты, вероятно, там темно и неприветливо и душно...

— Дети! Деточки! — визгливо кричит толстая тетка Анфиса. Не хуже теленка мы уносимся прочь от крыльца.

Серое огромное пучеглазое здание встает перед нами на черном дворе; широкая дверь замкнута пудовым замком; дом громадный, а стоит на столбиках, и это так смешно.

— Что это за дом? — спрашиваем мы.

Точно из земли выросший старик, от которого пахнет мышами и скипидаром, беззубо бормочет, кланяясь:

— Амбар это, чтобы сохранять барское добро; называется «магазин»... Разве откупорить?

— Откупори! — просим мы, несколько удивленные странным словом. При нас до сих пор откупоривали только бутылки.

Не сразу входим в этот «магазин». Нас интересует, зачем крестьянские дети забрались под него и что они там делают? Тот же ветхий старец объясняет шамкая, что это — «пострелы», тоже вот неслыханное словцо.

— Барчата, барчата! — пищат под амбаром. Да там этих «пострелов» видимо-невидимо!

Наклоняемся к столбам; куча желтых, коричневых и черных голов; любопытные глаза — карие, синие, желтые и серые — так и сверкают в сумраке.

Однако старик уже «откупорил» дверь и стоит в ожидании, блестя на солнце громадным, в пол-аршина, ключом. Какая голова у него седая да лысая, какие морщины глубокие и как покорно и безрадостно лицо...

Мы входим в магазин.

Амбар оказывается переполненным длиннейшими саблями, ржавыми шомпольными ружьями, кинжалами, заплесневевшими мундирами и такими огромными киверами в кокардах, что Володя мог бы с успехом спрятаться в одной фуражке. Позеленевшие бляхи с надписью: «за храбрость», «достоинейшему», блестят у козырьков.

— Да где ж это дети? Где дети? — разносится по двору крик тетки Анфисы.

Оставляем кивера и кинжалы; выходим; снова щелкает пудовый замок; идем к дому, и в отдалении робко плетутся за нами косматые ребятишки.

— Обедать, обедать! — кричит и выползшая на крыльцо нянька Агафоновна. Она видит, что нам не хочется уходить со двора, видит сопровождавшую нас «ораву» и грозит детворе согнутым в крючок указательным пальцем.

— Я вас упомяну, молодчики!

Делать нечего, приходится идти в дом.

## ОКУНЕВОЕ ОЗЕРО

Утро. Чуть брезжит свет, заползающий в комнату сквозь жаровые расселины ставней; в комнатах так тепло и так мягко на тюфяке... Сквозь сон я слышу голос, знакомый и тихий:

— Вставай, вставай... уже пора идти...

Ну как же лень подниматься с постели; кто это придумал так рано вставать!

— Минутку только, — умоляющим голосом прошу я. — Одну минуту, Володя.

Но Володя неумолим. Он — ярый любитель рыбной ловли, и хотя вся его роль ограничивается хранением



пойманной рыбы, — как гордится он своей обязанностью! Нужно только видеть, как ярко блестят его глаза, когда он несет домой заловленную щуку!

Володе прекрасно известны все рыбные правила: он знает, что на рассвете хорошо «клюет»; что на рассвете голодны все окуни и щуки, — и попросту стаскивает с меня одеяло. Это действует. Я сажусь на постели, и хотя и вздрагиваю от свежести и бормочу неуверенным голосом:

— И к чему так рано? Наверное, холодно, — но вижу, что идти необходимо, что Володя уже одет.

Он в синем гусарском бархатном костюме; соломенная шляпа со стеклянной пуговицей от дедушкина кафтана уже на его голове; и за поясом у него торчит, как у разбойничьего атамана, старинный кинжал, — без него он никогда не отправляется на рыбалку; как знать, какие опасности могут встретиться на пути... Да, вот и клетчатый саквояж, в который он старается затолкнуть огромную белую «витушку» из крупитчатой муки. Это провизия для охотников, — действительно, надо вставать.

— Я думаю, надо будет взять для рыбы прикормки, — деловито замечает Володя и при этом морщит лоб. — Без прикормки рыба будет плохо браться.

— Что ж, хорошо, — соглашаюсь я, торопливо умытаясь и разбрызгивая во все стороны воду. — Возьмем прикормки.

— А сколько жерлиц взять? — с тем же сосредоточенным видом допытывается Володя. — Ведь ты знаешь, как голодны щуки на рассвете...

По зрелом обсуждении мы захватываем с собой пять удочек: три для маленькой рыбы и две жерлицы для щук. Я ловлю рыбу сразу двумя удочками: на Володино счастье и за себя; третья же постоянно берется для нашего неизменного спутника на ловлю — хромоногого кучера Семы Бездомного.

Удочки обыкновенно ношу я, сетку для рыбы Володя, хлеб и съестные припасы (кроме конфет) кучер Сема.

Осторожно мы выбираемся из дому по скрипящим половицам и бредем к конюшням, где на сеновале спит наш Бездомный спутник.

— Сема, вставай, — пора рыбу ловить.

Минут с десять зевает, чихает и кашляет Сема хромоногий. Потом говорит деревянным голосом, глотая спросонья слова:

— Куда идти-то? Ну, выду-мли! Какое тут рыба-ченье? Ништа-о!

— Просыпайся же, Сема, — просим мы. — А то рыба перестанет клевать.

— А куда надум-ли?

Переглядываемся с Володией и решаем:

— К Окуневому озеру.

По давнему обыкновению, кучер Сема начинает ворчать и приводить резоны для того, чтобы отговорить нас от задуманного похода. Но не отвечаем на его ворчанье; всем отлично известно, что Сема Колченогий — страстный рыбак, и ворчит лишь по давней привычке, вошедшей в обычай... Но как пахнет на сеновале сеном, и как лошади внизу фырчат сонно и скребут пол копытами, и как заря на востоке разгорается, — можно ли это забыть!.. Устает ворчать Сема и, ковыляя, со вздохами направляется с сennика вниз к лестнице, с которой, несмотря на свои больные ноги, сползает на землю с ловкостью акробата.

— А хлеба-то взяли? — осведомляется он у нас. Хлеб насущный — для Семы главное.

— Много... — отвечает Володя. — Белого взял... ви-тушку целую.

— Ай-яй?.. — недоверчиво переспрашивает Бездомный и лезет в саквояж, чтобы убедиться, правда ли. — Ну, файда! — говорит он по осмотре. — Пойдемте... чего тут. Выдум-ли этта... ищо.

Наш путь до Окуневого озера, которое мы так называли за обилие этой красивой рыбы, лежит через овраг, мельницу, лес. В овраге, куда крестьяне сваливают навоз, мы обыкновенно копаем червей. Роев навоз постоян-

но сам Сема; нас он, «по нерадению», до этого «не допускает»; сам же ведет его с такой сноровкой, что мы удивляемся его уменью всякий раз. Обычно Сема долго рассказывает по оврагу и одно за другим «отводит» места, где, по нашему мнению, должны водиться черви.

— Да нет, разве вы умеете? — говорит он. — Червя надо тоже... понимать!

Найдя наконец подходящее место, он становится на колени и начинает разбрасывать навоз своим «подожком». Находить червей он действительно умеет в совершенстве и всегда радуется от души, когда их находится много.

— Червякев-то, — с наслаждением кричит он, ухмыляясь во весь свой рот и блестя желтыми глазами, — червякев-то сколько! Файда! Нешто не говорил? Эка, — купеческий! Держи!

Набрав в баночку червей, мы проходим к мельнице и идем по совершенно круглому пруду, похожему на громадную серебряную тарелку. Как блестит в траве зеленой его спокойная, невозмущенная поверхность; как знаком он нам, этот пруд: мимо него мы ходим почти ежедневно; а иногда и в нем самом, в пасмурную погоду, ловим красноперок и пучеглазую плотву. Нескончаемой плотиной, по бокам которой высятся тополи, мы огибаем половину пруда и вступаем в низкую, всю заросшую зеленью ложбину, ведущую в душистый липовый лес. На пруде всегда, даже ранней порою, и суетно и шумно: стучит мельница, скрипят колеса телег, лают собаки; приехавшие на помол варят кашу в котелках; у плотины кувыркаются пузатые ребятишки; тут же молодые парни купают лошадей и весело гогочут:

— Го-го-го!

Но сходим мы в заросшую кустарником котловину, — и сразу воцаряется тишина. Точно все проваливается куда-то; тишина ненарушимая. Нас с Володей немного страшит она, поглотившая общий шум жизни людей; в самом деле, куда девались люди? Мы переглядываемся нерешительно и, может быть, готовы уже отступить, но

здесь происходит забавная сцена. Сема вдруг с треском хлопается на землю, ухмыляется и говорит:

— Стоп!

Мы улыбаемся, но не особенно весело; мы знаем, что значит этот «стоп»: Сема делает привал для того, чтобы закусить. Аппетит у него ни с чем не сообразный. Такой он тощий, а ест как волк. Развязав мешок, он сразу отламывает себе половину огромной витушки и начинает глотать ее с таким чавканьем и такими кусками, что мы не без удивления следим, как работают у Семы челюсти, как по всему лицу надуваются жилы, и какие усилия делает он для того, чтобы, не разжевывая, проглотить кусок, составляющий без малого нашу обеденную порцию. С нетерпением мы ждем, когда наш спутник насытит свою утробу.

— Поторопись же, Сема! — говорит наконец Володя. — Ты подумай: шуки!

Но Сема неумолим. «Покедова не насытится мамон», ему идти «неспособно»; и отправляется в путь он не иначе, как напившись из пруда воды; для этого он ложится на живот и, упершись в плоский берег плотины руками, вытягивает во всю длину свою худую, изрезанную вдоль и поперек морщинами шею.

— Буль, буль, буль! — хлюпает около него вода, и испуганные лягушки отскакивают в разные стороны. Но вот завтрак окончен; мы собираем удочки и идем через лес в степь. Уж довольно высоко поднялось солнце, но воздух необыкновенно чист и ясен. Можно видеть стоящие в огромном отдалении горы; и так четко доносится с голубого верха невинный птичий голосок. Идем дальше; становится жарко; пахнет травой, кричит перепел, трещит дергач-коростель; неподвижно, плавно, точно подвешенный на струнке, висит в небе беркут, или дикий орел; невольно, совсем невольно мы замедляем шаги; а Сема и весь ушел в слух; на лице его блаженство, и так примиренно-радостно блестят его круглые совиные глаза.

— Ишь ты! — бормочет он, счастливо ухмыляясь,

и сейчас же, изображая петуха, кричит тонким голосом для нашего удовольствия:

— Кукарик!

Далеко-далеко скрипит неподмазанная мужицкая телега; маленькая, точно игрушечная, лошадь смешно и неслышно двигает тонкими как спички ногами, и совсем крошечный сидит в телеге старичок.

Мы подходим к Окуневому озеру.

Уже один вид его берегов, затянутых кувшинками, двоящимися на поверхности, заставляет нас забыть про птиц и музыку степи. С лихорадочною поспешностью мы начинаем разматывать удочки. А сами все поглядываем на солнце: высоко ли оно? О, если бы оно не закатывалось! Если бы никогда не надо было возвращаться домой!

Тихая сонная вода кружится невозмутимо; зеленые, тоже сонные, словно сказочные, камыши кивают головами; да откуда взялось это озеро, этот бархат зеленый, и солнце это летнее, улыбающееся, и этот Сема желтоглазый, — милый, милый наш Сема, наш единственный спутник!

Поспешно насаживаем мы на крючки извивающихся червей — в блаженном неведении своей жестокости; вот уже заброшены удочки в воду; непременно надо закидывать приманку поближе к лопухам; ведь там-то и отдыхают в прохладе окуни и лини. Пока не поймано маленькой рыбки — «животки», Сема с удовольствием насаживает на жерлицу белого червя и гогочет, в таком же детском неведении, над его судорожными движениями; а вот удалось поймать и пескаря, и спокойно насаживаем мы его на спину на стальной крючок и бросаем в воду как приманку для щуки. Тишина стоит благоухающая; тишина радостная, детская, невинная. Кто опишет эту солнечную летнюю тишину, когда хочется только одного: сидеть и не двигаться под опаляющим солнцем и ждать: вот дрогнет поплавок, опрокинется и потонет... и тогда на берегу бьется испуганная, недоумевающая рыбка...



Обыкновенно в полдень к озеру является стадо коров; от пастуха, желтобородого старика Власа, носящего два странных прозвища — «Бурдзя» и «Влас с Ногами», мы узнаем, что в конце озера есть маленький ручеек, где коровы пьют воду. Влас Бурдзя подсаживается к нам и, по обычаю, сначала долго и сосредоточенно молчит. Сема вступает с ним в смешливый разговор, показывает ему червей и для чего-то хлопает по пойманной рыбе шершавыми ладонями... Влас слушает его молча, с угрюмым, озабоченным видом, потом вдруг, как-то некстати, замечает протяжным голосом:

— А барчата рыбачить пришли?.. Нда-а!..

Мы, однако, настораживаемся; мы знаем, что сейчас Влас будет рассказывать страшную повесть.

— Глубокое озеро, камыши... — бормочет Бурдзя, точно ворчит. — Спят камыши, это точно, да. А ночью здесь особенно жутко. Особенно, слышь: камыши спят. А дна и не видать, говорю, нет, куда тебе дно! А в полночь выходит сам Старый из воды; борода зеленая, глаза — как огни. Как искры глаза, говорю: так и жгут... Годов семь никак мой Васютка ненароком сюда и выйди. Парень зрящий, ему бы с отцом... А он — без отца, — вишь, грех попутал. Испить, видно, водицы захотел. На меня ж, подика-сь, крепущий сон нашел. Он навел, водяной, — как есть. Ну, и склонись Васютка к озеру, я и слышу писк: словно зайчик где тюкнул. Зайчик, как есть... А это С а м Васяньку и уволок. Поманул его да и за шею... Вот...

«Влас с Ногами» показывает нам, как водяной схватил Васю за шею, и угрюмо отворачивается в сторону; на высохшей шее его бьется толстая жила; видно, как челюсть отвисла, — он забыл ее подобрать... А мы с Володи́ей уже давно побросали удочки и сидим далеко от воды, прижавшись друг к другу; только Сема невозмутим; улыбаясь, он плюет на червя или, чаще, доканчивает белую витушку.

— С а м Васяньку и уволок...

Робко посматриваем мы на озеро. Так жутко глядеть

нам на камыши; ведь это там — косматый водяной, утопивший у Бурдзи его сына Васю. Ну как же нам жалко старого Власа, как жалко, жалко!..

## АГЛАЯ ИВАНОВНА

Неистово гремят дробки. В звяканьи давно развившихся приборов слышатся и флейты, и бубенчики, и турецкий барабан. Мы выбежали за ворота: по разноголосому звону экипажа мы знаем, что к нам в гости едет бабушка Аглая Ивановна.

Бабушка еще далеко, но звон делается все настойчивее и нестерпимее. Экипаж приближается. Вот над соломёнными крышами покосившихся изб столбами взвилась пыль; поворот, — и на улицу выбегают деревенские мальчишки, а за этой свитой выплывает дикий, ни с чем не сравнимый экипаж.

Когда, по приезде в город, нас возили смотреть какую-то оперу, там мы видели нечто подобное: некоторая богиня выплывала из моря в огромной раковине. Именно на эту морскую раковину и похож бабушкин экипаж.

Пылающее от жара, совершенно круглое лицо бабушки в лиловом чепце с муаровыми отворотами нимало не похоже на лик сказочной богини, тем не менее бабушка очень эффектна: за спиною ее красуется громадный клетчатый зонт, который ветер то и дело выворачивает наизнанку; на плечах — мантилья, привезенная бабушке мужем из альпийского похода, чуть ли не в суворовские времена. Мантилья эта более чем интересна: на боках она темно-синяя, спина же ее напоминает разноцветную спину окуня: здесь все цвета, начиная с оранжевого и кончая серо-зеленым.

С нетерпением дожидаемся мы Аглаю Ивановну. Но у нее очень своенравная лошадь Ахиллес. Ахиллес — тоже из какого-то похода; в нем он потерял свои зубы и отморозил ноги. Может быть, по этим причинам он то бежит вскачь, пугая бабушку до последней возможности,

то идет шагом, несмотря на все понукания и угрозы древнего кучера Архимеда.

Почему-то, приближаясь к дому, Ахиллес всегда замедляет шаги. Мы знаем, что это неизменно; поэтому, будучи не в силах сдержать свое нетерпение, мы опрометью бросаемся к Аглае Ивановне.

Лицо ее выражает ужас.

— Тише, тише, деточки, — говорит она по-французски, — обивку оборвете. Будьте деликатными.

Чтобы быть деликатными, нам приходится бежать взапуски за напугавшимся Ахиллесом... При такой обстановке бабушка въезжает во двор.

— Мамаша, мамаша! — слышится пронзительный голос.

На террасе показывается с кучей бумажек на голове еще не закончившая свой туалет тетя Анфиса. На ходу она срывает с седеющих кудрей папильотки и, достигнув бабушки, принимает ее в свои пухлые объятия.

Нам же предоставляется только одно: почтительно поцеловать бабушкину ручку и удалиться восвояси. И ручка у бабушки так же интересна, как и сама она: на каждом пальце надето по несколько священных и таинственных колец. Есть кольца серые, есть кольца черные, есть кольца бурые, — с надписями и без надписей. Кольца эти сплавлены из разных металлов: из золота с оловом, — эти помогают от лихорадки; из золота со свинцом, — во избежание ревматизмов; есть колечко платиновое, — от дурного глаза; есть кольца, сплавленные из трех металлов, и каждое кольцо и целит, и помогает, и избавляет от бед.

— Позвольте, мамаша, я вам помогу, — говорит тетя Анфиса и делает невероятные усилия, чтобы закрыть бабушкин зонт.

— Мой друг, надо осторожно! — озабоченно замечает Аглая Ивановна. — Зонт можно испортить!

Обе дамы идут в дом. Когда приезжает бабушка, тетя Анфиса не допускает нас в свои апартаменты, чтобы чем-либо не помешать высокой гостье. Аглая Ива-

новна имеет привычку внезапно засыпать даже среди самого оживленного разговора. В это время надо сидеть тихо и, главное, никак не подавать вида, что кому-либо известно о бабушкином сне.

Аглая Ивановна и сон свой прерывает незаметно. Пробудившись, она говорит всегда одну и ту же фразу:

— Так в чем же дело, мой друг?

И тетя Анфиса продолжает развивать свою тему.

Бабушку у нас боятся все. Не боялся ее в свое время только ее муж, покойный генерал-от-артиллерии и кавалер. Всегда мирно настроенный и, кажется, никогда даже не бывавший на войне, генерал-от-артиллерии становился крайне воинственным в день своих именин.

Старый повар Фрол выкатывал из каретника позелевшую пушку, не то отбитую у врага, не то купленную у старьевщика; пушку заряжали холостым зарядом. Артиллерийский генерал сам наводил орудие на свой собственный дом, затем садился подле него в бархатное кресло и во все горло командовал повару:

— П-п-ер-р-вая... пли!!.

— Бум! — делала пушка.

В доме, среди не успевших выбраться из обстреливаемых комнат гостей, начиналось смятение. Бабушка в страшном испуге бегала по террасе, махала руками и кричала в ужасе:

— Илиодор Павлович, Илиодор Павлович, остановитесь!..

Но генерал был неумолим.

— Вторр-рая... пли!! — командовал он.

Пушка опять ухала.

— Ай-ай-ай! Ай-ай-ай! — визжала бабушка, мечась по террасе с подушками, которыми она закрывала себе уши.

А свирепость генерала все росла. По его повелению пушку втаскивали на сеновал, устанавливали против дома, и канонада продолжалось до тех пор, пока Илиодор Павлович, сморенный подвигами, не засыпал тут же, на сеновале. Неслышными шагами подкрадывались

тогда к сонному генералу лакеи, забирали бесчувственное тело на руки и относили в постель.

А на следующий день генерал появлялся в будуар Аглаи Ивановны нафабренный, причесанный и, кося глаза в сторону, говорил извиняющимся голосом:

— Вчера я... был виноват, Аглая Ивановна. Прошу извинить: военная кровь, вспомнились походы... враги... боевая жизнь... военная косточка... Так уж вы не сердитесь на меня, Аглая Ивановна.

И целовал ручку.

## ФЕДОР НЕ-КЛАДИ-ПЛОХО'В

*(Как наши деды на лошадях  
в Москву ездили).*

— Федор, принеси сливок.

— Монументально-с!

Не-Клади-Плохо'в как-то особенно выгибает спину, расправляет фалды своего фрака и, мотая из стороны в сторону головой, выскальзывает из столовой. Ходил он тоже необыкновенно: «выбрасывая» ногами, как рыси-стая лошадь, очень быстро и бесшумно, точно подошвы его сапог были сделаны из гуттаперчи.

Я так и запомнил его с вихляющей походкой, с вечным пробором на жирно напмаженной голове, с сонными мутными глазами в пестрых крапинках, с салфеткой под мышкой и с каким-то огромным камнем, похожим на кусок кирпича, на левом мизинце.

Помимо своих внешних странностей Не-Клади-Плохо'в отличался от прочей прислуги и своеобразною манерою говорить. И не то, чтобы он очень любил выражаться по-книжному (хотя это в нем и замечалось); его язык был совсем особенный и малопонятный. Некоторые вещи он называл совершенно иными названиями, чем те, которые установились за ними в обиходе. Так, самовар он называл «душегрей», отдых — «равноду-

нием», мозги — «размышлениями», вино — «спасением».

Получив от кого-нибудь просимое, Федор обязательно говорил: «мерси аплик», а встречая приезжавших к нам помещиц, постоянно приветствовал их сладким голосом:

— Мадам, сильвупле, сан-фасон!

Одевался Не-Клади-Плохо'в чрезвычайно франтовато: несмотря на то, что в нашей семье не требовали от него «парада» в то время, когда не бывало гостей, — он никогда, даже летом, не вылезал из крахмальной сорочки с белой тесемочкой вместо галстука и фрака с гербовыми пуговицами. Может быть, в этом и таилась причина его чрезвычайной популярности в дворне; мне же с Володей обаяние лакея Федора было непонятно: он не имел такой длинной серебряной бороды, какая была у пчеловода Александра, — ей мы втайне очень завидовали; не было у него и такого ружья, как у одноглазого Ивана Ивановича Кочергина... Однако мы все же не бывали окончательно равнодушны к напوماженному франту; мы любили его за то, что он часто рассказывал нам о своих путешествиях вместе с помещиками на лошадях в Москву и Питер.

Повествовал Не-Клади-Плохо'в своим особенным, мало понятным языком; но именно в этой загадочности выражений мы и находили для себя интерес.

Обыкновенно мы забирались к нему в комнату после обеда, когда, по его выражению, «господа откушались и костью полегли», т. е. почивали. Это время бывало для Федора самым свободным, и он охотно болтал с нами.

Усевшись к нему на кровать, на одеяле, сшитом из разноцветных ситцевых, суконных и шелковых треугольничков, подаренном ему одной из его бесчисленных «невест», мы прежде всего задавали ему вопрос:

— Федор, почему тебя зовут Не-Клади-Плоховым?

Федор постоянно отвечал одинаково:

— Злоба человеческая!

При этом он делал такую уморительную гримасу, что мы начинали хохотать.

Тем временем Не-Клады Плохо'в вынимал из ящика чайник с изюмом и, открыв крышку, предлагал нам: — Освежайтесь! Прошу сан-фасон!

Мы не заставляли себя долго упрашивать. Угощаясь сладкими ягодами, мы не сводили с Федора внимательных глаз, зная, что сейчас начнутся его рассказы из «Тысячи и одной ночи». (Свои рассказы он вел нам по числам и считал по ночам, наподобие сказок Шехерезады.)

— Ночь девяносто девятая! — возглашал он, и мы, оставив изюм, превращались в слух.

— Надо вам сказать, — начинал Не-Клады-Плохо'в, — что с вашим дедушкой я ездил в Москву, будучи, говоря по секрету, вот таким окурком (Федор отмеривал рукою аршин от полу). Человек они были с большой фанатеркой: сидят себе, сидят, и вдруг ни с того ни с сего зыкнут:

— «Приготовь монументально «Ноев ковчег»!»

— Сами посудите, — фургон этот вы видели, — разве можно приготовить его вдруг, так просто, мерси апплике? Тут работы кучерам по крайней мере на четыре часа, а они и знать не хотят: чтобы в тридцать кувшинчиков (минут) им все было готово! Ну-с, в доме поднимается, можно вообразить, столпотворенье языков. Один укладывает в чемодан белье, другой платье, третий завертывает в бумагу спасение (вино), еще кто-нибудь собирает разные вещи... а на дворе, говоря по секрету, уже идет самое вавилонское междоусобие: выкатили ковчег, запрягают животы (лошадей), тискают подушки, ковры, астролябию (ружья)... Нельзя же, сами посудите, без оных в такой путь, коли на каждом шагу разбойники и прочая недостойность? А повар Влас уже укладывает в дорожное отделение замороженные щи, котлеты и иную, можно сказать, контрабанду (снесь). Наберут, бывало, мешков пять одной провизии! А щи в кусках так постоянно мы и держали зимой на леднике, — не-

равно взбрендит им в головку куда-нибудь ехать... Ну-с, а пока мы фургон-то приспособляем, у вашего дедушки с Елизаветой Васильевной, ихней супругой, идут промеж себя всякие междометия: барин говорит: — «к сожалению, еду»!.. а те попереки... и все в том же направлении. Барыня сейчас же приходят в половодье (слезы), а дедушка, как истый дворянин, снимают этак образ, крестят, целуют и, не говоря дурного слова, уезжают в Москву. А вместе с ними отбываем в дальние страны и мы... то есть, прежде всего, я, повар Влас, кучер Платон Скипидаров, ныне мнимоумерший (Федор умерших почему-то всегда называет «мнимоумершими»), и прочая гиль. Едем ведь мы, говоря по секрету, зимой; мороз, можно выразиться, в тридцать графинчиков (градусов), сами посудите, какой дело приняло оборот. Сидишь это на козлах, замерзаешь совсем сан-фасон и всем родителям потусторонние письма пишешь!.. Ну, нечего греха таить, в дороге дедушка бывали любезны: увидят, что ты, например, сконфузился (окоченел), сейчас же рюмку спасения и предлагает в капернаум. Разумеется, с такого холоду не разберешь, что перед тобою барин, а сейчас же — мерси аплике — и в фургон. И таким-то манером вся челядь попеременно в ковчеге и отогревает кости. Даже кучером не брезговали, а уж совсем был лядящий человек: посадят кого-нибудь за него, а самого в «Ноев ковчег» включают... Так-то вот мы едем, говоря по секрету, с утра до ночи. В каждой деревне лошадей меняем, потому что денег у барина — несть числа... А наступает ночь, — сейчас же приезжаем на станцию, распаковываем всякую контрабанду... Попьешь, закусишь, выкуришь сигару, — все это по порядку, а потом и ищешь себе, где бы равнодушие (отдых) найти. Зачастую, конечно, и не прямо отходишь ко сну, потому обстоятельства не позволяют; познакомишься, например, с каким-нибудь хорошим человеком, вроде того, что камор-лакей у какого-нибудь проезжающего барина. Сейчас же тарабарщина и все тому подобное, а время летит...

«А то однажды ехали мы в том фургоне из Москвы.



На этот раз не одни катили, а везли с собою из института трех барышень, мамашу вашу и двух тетенок. Время было, можно сказать, к сожалению, самое легкомысленное, весеннее, то крупа (снежок) посыплется, то слезы (дождь) польют. Словом, недоброкачественная пора. Ну-с, таким манером приехали мы к наступлению междоусобия (сумерек) в город Симбирск. А оттуда нам следовало через самую реку Волгу путь держать. Барышни-то, по своему женскому легкомыслию, заробели и говорят: «Давайте, папаша, остановимся здесь для равнодушия (отдыха), а завтра чуть свет и Волгу перемахнем».

«А дедушка, вы знаете, какой: человек буйный, потомственный дворянин и всякая штука. — «Нет, ничего, поедем».

«Ну, ехать, так ехать. Позвали это барин к себе деревенского лоботряса (старосту) и наказывают: «Ты смотри, хорошего погоняя (ямщика) мне выбери. Если, говорит, я утону, я тебе всю шею измочалю».

«Ладно. Подумал, подумал лоботряс и отвечает: «Для-ча, дескать, утопать: можно и без душегубства, чтоб все по уважению».

«Запрягли они, голубчики, свои животы (лошадей), мы и поехали. Едем себе в полном довольствии, а темнота все увеличивается: скоро пальца своего не стали видеть. И вдруг это «Ноев ковчег» покати́лся быстротою самой лучшей молоньи — и под гору. Дедушка ваш выпростали из шубы голову и кричат погоняю: «Смотри, не утопи, я те дам!»

«А тот: «Пошто, — говорит, — топить, чай у меня животы». — И не успел это он про свои животы договорить, как фургон закачался да — ух в полынью!

«Батюшки мои, какая катавасия пошла! Барышни кричат: «Папочка, к сожалению, утопаем!» — а дедушка никак шубы с головы своротить не могут... притом же и дверцы открыть боятся, чтобы воды не напустить.

— Действительно, — говорит, — деточки, — утопаем. Простите меня, старика...

«Животы в полынье бьются, погоняй взобрался на козлы с ногами и, говоря по секрету, вопит:

— «Животы, животы мои!» — А фургон, как вещество физическое и внутри пустое, на манер корабля, качается, это, к сожалению, на волнах океана, а на дно нейдет.

«Ну-с тут я, не будь плох, отрубил у одного живота постромки, снял с себя шубу, сел верхом и говорю сам себе: «Буду господ единогласно (поодиночке) из фургона таскать». Опустил оконную раму и кричу дедушке: «Барышень давайте, а дверь открыть нельзя».

«Барин сейчас одну девицу в окошко и высуну. Сижу я верхом, вокруг вода хлещет, животина подо мною шарается и фырчит... а всего-то в двух шагах от меня самый лед и начинается. Взял это я одну барышню на ручки да на лед. Потом другую, третью, за дедушкой обратился. «Держитесь, — кричу, — за мою шею!» Барин так и вцепился; сам трясется, зубы щелкают... весь глянец, к сожалению, потерял...

«Вытащились это мы все на льды, фонарь вздули и на шест высоко подвязали... Ну, точно Робинзоны Крузовы, как есть. Только, к сожалению, все еще животы в воде оставались с фургоном, бьются, храпят, смотреть — одна меланхолия и недостаток духа.

«Спасибо еще, — недалеко от города отъехали; догадало кого-то из наших за брюханами (мужиками) скакать. Приволоклись брюханы, сам лоботряс приехал... Тут и животы, и «ковчег Ноев» вызволили... А как вытащили, дяденька ваш и раскричись. Подошли это они к самому лоботрясу, руками машут, слова толком выговорить не могут, просто наружу себя пеной идут.

— Ты, говорят, мошенник, разбойник кавказский! Из тебя, говорят, я сегодня же мог мнимоумерший труп, к сожалению, представлять! Я, говорят, тебя сейчас да на казенные хлеба в капернаум... — И пошли, и пошли. В окончании, однако, дали ему за старание три рубля и мне за храбрость канареечную бумажку...

«И только это взобрались мы на горку, — деденька

ваш как хватит себя по головке! — «Картуз мой с ушами! — кричит, — картуз мой с ушами!» А надо вам выразить, что зимою они, как истый дворянин, картузик из лисьего хвоста нашивали: отвернут при холоде ему ушки и сидят себе любо-дорого. Хоть сорок графинчиков (градусов), — вот какой любезный картуз!

«А значит, как начались при нашем потоплении разные междометия, шапочку-то деденька и обронили. Сгоряча и не заметили, потому: шуба! А начали размышления (мозги) остывать, и хватились. «Поворотить весь ковчег! — кричат. — Сейчас же в Волгу». Делать нечего, повернули тарантас, только подхожу я к барину и докладываю: — «Сам для спасения одного картуза душу пожертвую». — «Жарь, — кричат, — голубчик, ничего не пожалею». Сначала, было, я к той полынье в обход, потом вижу словно перильца от моста утопшего; ну, перекрестился да с фонарем и пошел. А с обеих сторон, доложу вам, вода — мановенье одно и мнимоумерший труп... Однако ничего: деденькин картузик-то отыскал. Благодарили. В лоб поцеловали. — «Ты, говорят, не какой-нибудь пес, а верный мой личарда!» — И опять канареечную бумажку.

«Таким-то путем доехали мы до городу, а уж с той поры никогда по ночам через Волгу не ездили!..»

В конце своих рассказов Не-Клады-Плохо'в, по обыкновению, заливался дребезжащим, похожим на звон жестяной посуды смехом, и мы с легким сердцем уходили к себе домой.

## ТЕТЯ АНФИСА

Как хорошо знакомо, как интересно мне это лицо! Всю я вижу ее, эту тетю Анфису, пухлую, тучную, похожую на кубарь, необыкновенно добродушную и вечно улыбающуюся... Вот точно звуки медной тарелки разносится по двору ее тонкий, пронзительный голос:

— Володичка! Павлик! Идите ко мне кушать пирожки!

Приглашение это раздается обыкновенно по праздникам, после обедни, и нас живо интересует по многим причинам: прежде всего, нас интересуют пирожки сами по себе; они такие румяные и сочные! Затем, после пирожков следует варенье; наконец нам интересно попасть и в дом тети Анфисы, где почти всегда огромные окна полуприкрыты ставнями, где пахнет мылом и нафталином, и все вещи блестят как отлакированные, потому что содержатся они в поразительной чистоте.

Ежедневно не менее двенадцати раз проходит по своему дому дозором тетя Анфиса, и горе цыпленку, наследившему по полу! Его провожают такими воплями, что куриное сердце его трепещет невыразимо; все же дремлющие под террасой гуси и утята с криками вылетают из темноты и вертятся по двору, как угорелые кошки.

Приглашению в дом мы радуемся еще и потому, что отлично знаем: за пирожками и вареньем последует чай с мягкими булками, по специальной тетушкиной методке... Все это заставляет нас дожидаться в воскресный день пригласительного зова почти с самого пробуждения тети Анфисы.

По праздникам она встает несколько позже своего «положения», а положение ее таково: ложиться спать зимой и летом в семь вечера и вставать не позже шести утра.

Проснувшись, мы поспешно выходим на террасу, или, как называет ее нянька Агафоновна, «галдарею», посмотреть, открыто ли у тети Анфисы окно. Она живет в том же дедовском доме, в левой его половине, с жестянными «драконами» на дымовых трубах.

Приплюснув свои носы к оконным стеклам, мы стараемся разглядеть, пьет ли тетушка свой утренний чай. Сначала мы видим два самовара; затем разглядываем, что один самовар нам мигает и не весьма одобрительно (тетя Анфиса не любит, когда мы заглядываем в ее окна).

— Озорники, озорники? — кричит она. — Уйдите отсюда. Господи Вседержителю!

Чтобы не лишиться угощения, мы с Володей отходим к старым каретникам, где необыкновенно худой и высокий как верста парень, по имени Федя, «заправляет» дрожки к выезду «барышни» в церковь.

Федя — человек тихий, богобоязненный и больной. У него почему-то постоянно подвязана щека.

— Вечный хлюст! — загадочно объясняет Федя.

Фамилии его никто не знает; зовут его просто «Федя Ненилин», так как старуха Ненила — его мать. Он уже пять лет состоит у тетки в кучерах, и единственная обязанность его — в будни спать в каретнике до вечера и затем до утра, а в воскресенье снарядить старую тетушкину лошадь «Бураго» и ехать к обедне. Остальное время Федя, как уже сказано, спит. Мы заставляли его постоянно спать: и утром, и днем, и вечером; он даже и ест как-то сонно; единственно когда Федя говорит не спросонок, настоящим голосом, — это когда кто-нибудь начинает при нем бранить Бураго. На щеках у Феди выступают красные полосы, он фырчит и размахивает руками, словно ветряная мельница.

— Федя, а ведь Бурый плохая лошадь, — говорю я, а Володя одобрительно улыбается.

Федя кипятится.

— Ну вас, пошли-те отсюда! Закладать мешаете, а барышня гnevаются. Уж ежели Бурый не лошадь, — всю совесть заложу!

Окончив подмазку колес, Федя надевает на Бурого сбрую, которая нам очень нравится: вся она унизана медными бляшками; затем он впрягает Бурого в экипаж; Бурый выступает солидно, но почему-то всегда, когда Федя подтягивает ему хомут, шлепает губами на самую маковку Феди.

Когда лошадь снаряжена окончательно, мы бежим к дому торопить тетку ехать к обедне. Перед крыльцом даже в самую жаркую погоду разостлан половичок, на ту надобность, чтобы всякий, дерзающий проникнуть

в апартаменты хозяйки, чисто-начисто отер прах от ног своих.

Пошаркав перед крыльцом ногами, с тем расчетом, чтобы набросать на ступени как можно больше песку, мы вбегаем в покои тетки с отчаянным криком:

— Тетя Анфиса! Ваша серая курица пропала!

Хотя та и знает, что мы всегда придумываем всевозможные небылицы, однако пугается, багровеет и, выбежав колеблющейся походкой на крыльцо, кричит взволнованным голосом:

— Дунька!.. Дуняшка!.. Дрянь этакая, где ты?..

Появляется Дуняшка, толстая рябая баба, с усами и угрюмым четырехугольным лицом.

— Слышу, чай не оглохла... Чего зевлакаете? — спрашивает она.

— Где серая курица?! — набрасывается на нее тетка. — Я тебя спрашиваю: где серая, дрянь, курица? а?

К нашему неудовольствию, «пропавшая» курица внезапно показывается в траве. Тетя Анфиса обращает к нам взгляд, полный негодования... Но, к счастью, всегда так, что она замечает в своей половине двора какой-либо вопиющий беспорядок и переносит свой гнев на преступников.

— Теленок! Теленок! — гневно кричит она. — Чей теленок? Кто смел?.. Дуняшка, Федька, Прохор, Анатолий, гоните теленка! Володичка, помогите!.. Господи Вседержителю!

Операция изгнания продолжается долго: теленок, поднявший хвост трубою, с жалобным мычанием носится по двору «взглягушки», как выражается Федя, и ревет, напуганный хворостинами... Мы же тем временем благоразумно скрываемся восвояси.

Но вот во дворе воцаряется спокойствие, и готовый к отъезду в церковь Федя Ненилин лихо подкатывает к крыльцу. В это время из дверей дома выходит в парадном облачении и тетя Анфиса. Она в необыкновенной шляпе с тропическим растением, при красном шелковом зонтике; зонтик этот она всегда держит не за ручку,

а за набалдашник. Севши в экипаж, тетя Анфиса делает краткие распоряжения Дуняше насчет пирожков и уже совсем готовится к отбытию со двора, когда вдруг замечает нанесенные нами на ступени ее крыльца «пески».

— Кто насорил? — снова негодует она.

— Наверное, теленок, — вырастая из земли, объясняем мы, и тетка, побранив теленка, отъезжает со двора.

С каким нетерпением ждем мы колокольного звона, возвещающего о конце службы; отчего так долго? Отчего так долго?.. На все уговоры няньки Агафоновны позавтракать мы отвечаем, что будем есть «на той половине» пирожки.

Наконец-то мы слышим «суставное» звяканье «барышнинного экипажа»; тут уж не усидеть: громкими криками мы встречаем в воротах багровую от солнца тетю Анфису, которая в желтых лентах очень походит на какое-то индийское божество.

Но она так долго раздевается и так долго чистит парадное платье; лишь через час после торжественной встречи обыкновенно слышится с крыльца долгожданное приглашение «на пирожки».

Не теряя времени, мы подбегаем к крыльцу и, забывши необходимое условие входа, стремимся взлететь на ступени прыжками... Но слышится обычное повеление:

— Володичка... Павлик... ноги оботрите.

Со страхом и трепетом мы вступаем в дом тети Анфисы: так много там блестящих в его сумраке старинных икон и столько портретов предков, лица которых красны, как их воротники.

— Садитесь и кушайте. Вот салфеточки для рук; на скатерть не капните: боже упаси!

Тетя Анфиса суетится, превращаясь в любезную хозяйку, а мы уж уселись на старинные желтые стулья и с почтением смотрим то на вазочки с вареньем, то на талию тетки, из которой легко можно выкроить еще четырех таких, как я с Володей.

Рябая Дуняша входит из кухни и с таким видом ста-

вит на стол жестяную тарелку с пирожками, как будто бы дает нам вместо пирожков отравы.

— Пригорели пирожки-ти... Нате, кушайте, — сквозь вам пройти!

Тетя Анфиса сжимает один пирожок пухлыми пальцами и говорит с наслаждением:

— Отличные пирожки! Превосходные пирожки!

Нам очень хочется пирожков, но это можно лишь тогда, когда они остынут; до тех же пор нам предоставляется лишь наблюдать, с каким аппетитом тетя Анфиса кушает сама.

И это продолжается не малое время; но, наконец, и нам дается свобода действий с пирожками. А после пирожков мы переходим к чаю с вареньем; а после чая — булки «по тетушкиной методе».

Но как тщательно надо наблюдать за собою во время празднества! Надо всемерно смотреть, как бы сладкой каплею не запятнать белоснежную скатерть тети Анфисы. Наложить пятно — значит быть изгнанным из эдема.

Во время чая тетя Анфиса рассказывает нам свои новости, которые, однако, большею частью заключаются в соображениях насчет завтрашнего обеда.

— Ничего нет лучше клюквенного киселя! — говорит она нам свое обычное изречение.

А к двенадцати часам к тетке уже являются гости, и нас довольно прозрачным образом выпроваживают... Разумеется, мы уходим. Да нам тут уж и делать-то больше нечего... до следующего воскресенья.

## КОЧЕРГИН

Вся комната Ивана Ивановича загромождена сундуком, служащим ему в то же время и постелью. Сундук короток, и для удлинения ложа к нему приставляется табурет, но Кочергин не желает ничего лучшего. Крошечное оконце, немного кривое и засиженное мухами,



едва пропускает свет в маленькую каморку. Длинной она в три аршина да шириной около двух. Вся мебель ее и заключается в сундуке и табурете, но стены украшены, как выражается Иван Иванович, с роскошью.

На одной из них висят огромные крылья грифа; на другой бродят тараканы; чучела ястребов и копчиков прикреплены к третьей стене; старое одноствольное шомпольное ружье, из которого Кочергин стреляет поразительно метко, повешено над окном, возле сундука; тут же и рыжий патронташ и старомодная пороховница из бычьего рога; на самом потолке прибиты крашенные гравюры, изображающие как битву русских с кабардцами, так и похищение Елены.

Я сижу на отведенном в мое пользование табурете в углу, а Иван Иванович — на своем сундуке, облокотившись на две пестрые ситцевые подушки, и серьезно смотрит на меня своим единственным, черным, как пуговица, глазом. Вся фигура Кочергина чрезвычайно любопытна. Высокий, почти саженого роста, он прям и тонок как жердь; волосы его железного цвета, с большою сединою, слегка выются; никто не знал, у кого стрижется, живя в деревне, Иван Иванович, но шевелюра его всегда неизменна по длине; лицо Кочергина все в морщинах и смуглое, почти коричневое; нос орлиный, изогнутый, падающий на подбородок; брови черны как сажа и косматы; усы и борода совершенно отсутствуют, точно их не было никогда.

И одевается он оригинально: вечно в синей коленкоровой рубаше, заправленной в панталоны по-малороссийски: черные панталоны придерживаются одной ремненной помочью, перекинутой наискось через плечо; только тогда, когда Иван Иванович надевает на себя ружье, кажется, что у него на плечах две подтяжки... Насколько я помню его, он постоянно бывал в этом своем неизменном костюме; случался ли у нас в доме праздник или на дворе стояла зима, — Кочергин всегда появлялся в синей рубаше и смазных охотничьих сапогах, в которые вправлены черные брюки.

В то время, когда я знал Ивана Ивановича, я никак не мог догадаться, что он происходит из так называемых однодворцев и проживает при старом помещицьем доме из милости; никогда я не задавался вопросом, почему Кочергина то посылают на базар за керосином, то зовут подсобить чем-нибудь на дому, и почему он обедает не за нашим столом, а в кухне, впрочем сидя на самом почетном месте, под образами.

Я интересовался личностью Ивана Ивановича постольку, поскольку он умел давать мне и братьям развлечения. Мне почему-то нисколько не казалось удивительным, что его посылают за покупками в лавки, и никогда не удавалось уловить и тени неудовольствия на его строгом и в то же время добродушном лице.

Сидим мы, бывало, с Иваном Ивановичем на завалинке старой, почерневшей и кривой кухни; он, по обыкновению, ведет длиннейшие разговоры о жизни птиц и зверей... Вдруг на террасе появляется пухлая фигура тетки, и раздается визгливый голос:

— Иван Иваныч! И-ва-ан И-ван-ныч! Где вы?..

— Ну, — усмехаясь говорит Кочергин, — закудахта-  
тала.

Он встает с завалинки и не спеша подходит к высокому балкону.

— Что вам? — спрашивает он.

— А вот, вот, — тоненьким голоском объясняет тет-  
ка. — Сходите, Иван Иванович, на базар. Купите керо-  
сину, пожалуйста.

Она сбрасывает ему на руку жестянку для керосина и деньги; и то и другое Кочергин ловко схватывает на лету, но отправляется не сейчас; сначала садится на ступени крыльца и с громким пыхтеньем закуривает «труб-  
ку-ахерон».

— А и много у нас с тобой тут ос завелось, Павел, — говорит он мне, указывая длинным коричневым пальцем на искусные их гнездышки, приклеенные по сте-  
нам. — А это, вишь ты, к счастью. К счастью служит и  
моя «трубка-ахерон».

— Я с вами тоже пойду, Иван Иванович, — прошу я, не слушая его речи про ос и трубку, весь охваченный интересом совместного путешествия на базар.

— Пойдем-то мы пойдем, только что найдем, — посмеиваясь говорит Кочергин и встает с крыльца. — А то лучше тебе, Павел, дома посидеть?..

— Нет, пожалуйста, пожалуйста... — упрямлю я, и мы оба отправляемся за керосином. Иван Иванович идет такими огромными шагами, что мне приходится поспешать изо всех сил, чтобы держаться наравне, а смотреть на его лицо мне так же высоко, как на церковную колокольню.

Дорога к базару очень живописна; наш старый дом стоит особняком от села и окружен водами и лесами; я в особенности люблю Ивана Ивановича за то, что он всегда предпочитает самую краткую дорогу; вследствие этого мы идем очень странными путями для пешехода; сначала напрямик вброд через маленькую речушку; здесь Кочергин сажает меня на плечи и прыгает по камням мелководной реки как козел; затем мы вступаем в лес, переполненный ежевикой, красной смородиной, лаем собак и галочьим криком. Трава там высока, — гораздо выше меня; какие-то колючие растения обсыпают нас своими сероватыми гроздьями, похожими не то на выспевший овес, не то на моль; белый мох и летающий цвет вязов усеивают платье как снегом; по временам в куртку вцепляется репейник... Но вот путешествие по лесу окончено; мы выходим к довольно глубокому, с черной стоячей водой, озерку; Иван Иванович снова берет меня в охапку; мое сердце дрожит, когда Кочергин вступает на неширокую доску, перекинутую на другой берег озера, и я спрашиваю его с опаской:

— А она не подломится?

Иван Иванович что-то бурчит; его ворчанье меня немного успокаивает; но вот мы уже на том берегу; несколько шагов, — и мы упираемся в изгородь. Теперь Кочергин берет меня под мышки, высоко и легко, как полуфунтовую гирьку, приподнимает над головой и, со-

гнувшись, опускает на землю по ту сторону забора. Я с любопытством смотрю, что будет дальше. Через минуту необыкновенно длинная нога Ивана Ивановича показывается на заборе, и вслед затем и весь он появляется на нем, солидно усмехающийся и важный.

«Я моряк, красивый собою,  
Мне от роду двадцать лет» —

поет он, сильно ударяя на «о».

Мы идем по огороду, по тыквам, огурцам, капусте.

«По морям, по волнам  
Нынче здесь! Завтра там!..»

Собака, лохматая и куцая, набрасывается на нас; Иван Иванович кричит на нее таким уничтожающим голосом, что шавка, поджавши хвост, взвизгивает и, боязливо косясь на Кочергина, стремится улизнуть восвояси.

Выбираемся на улицу, настоящую деревенскую: ко-собокую, изъеденную ухабами, изрезанную лужами; уныло посматривают на нас крытые соломою избы, но нам весело: даже Иван Иванович ухмыляется.

— Пойдем-ка мы, Павел, с тобой на базар и купим тыквенных семян, — говорит он.

Я восторгаюсь. Есть тыквенные семечки научил меня мой одноглазый наставник и друг. Они кажутся мне не особенно вкусными, но ведь покупает их сам Иван Иванович Кочергин.

Вступаем на базар, переполненный мужиками, детьми, бабами, лошадьми, собаками, коровами; воза с дегтем, дровами и углем заполнили площадь; народ толчется как будто все на одном и том же месте; над толпою висит пыль, а мне почему-то кажется, что это поднялся над народом тот гам, который он издает... В одной кучке продают старые сапоги и кричат изо всей силы; там с вытаращенными глазами хлопают для чего-то по рукам и держатся за полы кафтанов; в сторонке мужик с слезящимися глазами пьет водку, и мне жалко мужика, потому что он плачет, а водка горькая; за ка-

менной лавкой чумазые ребяташки едят сушеную воблу; мне очень хочется попробовать эту рыбу, но Иван Иванович объясняет мне, что от нее болит голова.

Идем дальше, и я с любопытством смотрю, как заезжий малоросс глядит лошади в рот. — Не болят ли у лошади зубы? — спрашиваю я. Кочергин очень пространно объясняет мне, для чего лошадям смотрят в зубы.

Но вот мы у той лавки, где нам следует купить керосину. На широком помосте перед нею разлеглись приказчики и играют с хозяином в шашки; Иван Иванович приятельски здоровается со всеми и начинает с указания на то, каким путем обеспечить себе верный выигрыш.

По-видимому, его предложение проваливается с треском; Кочергин горячится, когда над ним начинают смеяться, и размахивает жестянкой от керосина с таким ожесточением, как будто бы хочет пришибить ею хозяина.

Я уже опасаясь за целость лавочника, как вдруг Иван Иванович начинает добродушно хохотать и, обняв хозяина за спину, идет вместе с ним в лавку.

Косой босоногий мальчик, с белыми как воск волосами, цедит в жестянку керосин, мрачно нахмурившись, двигая губами с самым озабоченным видом, а хозяин уже сидит с Кочергиным на прилавке, и оба курят табак. Иван Иванович с важностью держит между двумя пальцами данную ему хозяином папиросу и пускает ему в розовое лицо клубы дыма. Лавочник наконец замечает и меня и дает мне завернутых в крошечном фунтике мятных сладких лепешек.

Я недоумеваю: брать или нет, и посматриваю на Кочергина. Иван Иванович кивает головой утвердительно и даже мигает своим единственным глазом.

Забравши керосин, мы возвращаемся домой тем же путем. Жестянка тетке сдана, и мы идем в кочергинскую комнату и там снова заводим разговоры. Я почти всегда начинаю с просьбы о разрешении посмотреть, что спрятано в сундуке Ивана Ивановича.

— Да что ты, брат Павел! Нешто тебе жизнь не мила? — всегда говорит в этих случаях Кочергин. — Кощей Бессмертный там заперт: открыть сундук — и сейчас же он съест всех, как только вырвется.

Для того, чтобы отвлечь меня от сундука, Иван Иванович начинает рассказывать мне повесть о разбойнике Чуркине, но она уже давно мною выучена: на крайнее средство приходится решаться Кочергину:

— Сейчас сделаю тебе из вяза лучок и стрелы.

— Стрелы!.. — Это приводит меня в восхищение; я забываю о Кошее Бессмертном и тащу Кочергина в вязники. Он забирает с собою огромный кривой нож, который, по его словам, подарил ему сам разбойник Чуркин, и мы отправляемся в лес.

Долго ходит Иван Иванович между молодыми вязками и рассматривает ветви.

— Вот хороший! Вот хороший! — говорю я. Но он все бракует и режет по собственному усмотрению.

Очистив с ветки кору, он достает из глубочайшего кармана своих панталон бечевку и с удивительными гримасами натягивает тетиву.

Остается добыть стрелы. Кочергин выбирает прямые ветви между теми же вязками. — Самые счастливые стрелы — вязовые, — уверяет он, — вязовые выше летают, но прямые между ними попадают редко... поэтому чаще приходится обращаться к шиповнику.

Срезав несколько палочек, он проделывает в конце их продольное отверстие и вставляет кусочки петушиных перьев. Стрелы готовы, но для того, чтоб они летали как можно прямее, необходимо наклеить на концы их сухого дегтя.

Мы возвращаемся на двор, заросший лебедой и репейником, и начинаем осматривать колеса у телег. С большим трудом находим мы требуемое количество дегтя. Наделав из них катышки, Иван Иванович обваливает их на песке, чтобы деготь не приставак к рукам, и надевает на концы стрел по шишечке; стрелы, действительно, улетают в самое поднебесье; выпустив их в высь, я

смотрю, когда они вернутся, и от солнца на глазах моих показываются слезы. Возвращаются с высоты не все из пущенных стрел. — Может быть, некоторые из них воткнулись в плывущие облака? — говорит Кочергин. Желание попасть стрелой в летящую над домом галку появляется во мне. Но галки так осторожны; гораздо спокойнее стрелять в забор: он ведь не летает. Начинаю стрелять в забор, где Иван Иванович нарисовал углем круги; но не удается попасть в черную точку середины круга, как близко я ни подхожу; между тем стоит только Кочергину прищуриться и языком щелкнуть, как стрела — в самой серединке. Неудачи еще более разжигают мое самолюбие, — я готов стрелять две недели подряд, но Кочергина зовут обедать в кухню. Мне очень интересно смотреть, как Иван Иванович обедает; я бросаю лук и отправляюсь вместе с Кочергиным на кухню.

Обыкновенно она ко времени нашего прихода оказывается переполненной народом; все кучера, кухарки, судомойки и мальчики встают при появлении Ивана Ивановича; торжественно он идет к своему месту в угол, садится под черные образа и, перекрестившись, начинает резать мелкими кусками лежащее на дубовой дощечке вареное мясо; все, не исключая меня, смотрят в это время на него с уважением; искрошив говядину, он кладет ее в большую деревянную чашку, полную испускающих пар щей, и все приступают к обеду.

Громкое чавканье прислуги прельщает меня; я прошу у Ивана Ивановича позволения присоединиться к обедающим; разрешение получается лишь после долгих переговоров, и я, осмотревшись, не подступает ли к кухне мой старший брат Саша, гимназист с серебряными веточками на фуражке, начинаю жадно уплетать жесткое вареное мясо. Саши я боюсь не без основания: он нередко доносил на меня тетке, и тогда всем доставалось за то, что допускали меня, как выражалась няня Агафоновна, «до греха».

За вторым блюдом всегда молчаливый с прислугой

Иван Иванович начинает рассказывать об Илье Муромце. Сказку эту я слышал от него много раз, но она продолжает мне нравиться потому, что у Ильи был необыкновенный лук с калеными стрелами; притом же Кочергин и очень разнообразно повествует о богатыре: если Иван Иванович в хорошем расположении духа, он заставляет Илью долго ездить по всяким государствам и побеждать других богатырей; если же в дурном, то уничтожает его в первой же схватке с татарами под Киевом.

## В СТАРОМ КАРЕТНИКЕ

По субботам, после всенощной, мы с Володей с особым удовольствием приходили на вечеринку в наш старый каретник. Надворные службы нашего деревенского дома представляли из себя чрезвычайно длинное, почти бесконечное сооружение с прогнившей тесовой крышей и крохотными круглыми окнами, в которых стекла, за древностью, отливали всеми цветами радуги. Интересны были и стены этого древнего, можно сказать, исторического здания; они все испещрены черными кругами с точками посередине и усыпаны дробью, картечью и пулями: на протяжении веков наши предки так испытывали на этих стенах доброкачественность своих ружей, винтовок и пистолетов. Дедушки испытывали ружья, а что испытывали бабушки, когда мужья и братья их занимались во дворе ружейной пальбой, — история умалчивает; однако больше всего нас интересовали не стены, а внутренность служб. Постройки эти распадалась на два совершенно особые отделения: конюшню и каретник. В конюшне помещались наши лошади: Соколик, Дружок, Красавчик и Гнедко, и единственная лошадь тети Анфисы — старик Бурый. Лошади, однако, были ничем не примечательны, и несравненно интереснее нам казался каретник. Туда мы вступали всегда с замиранием сердца. И чего-чего только не находилось там, в



этом древнем каретнике! Верха, или второй этаж, были заставлены всевозможными санями. На первом плане помещались одиночные; затем, как выражался наш кучер Сема, шли сани «двужилые», далее — троечные, за ними «кошелки», — все это самоновейших фасонов. Но стоило лишь миновать этот ряд саней, и взгляду представлялись необыкновенные редкости. Прежде всего бросался в глаза дедовский зимний фургон, или, как его называли иначе, «Ноев ковчег». В этом-то «ковчеге» наши предки и ездили в зимние поры в Москву.

Представьте себе огромное четырехугольное здание (иначе назвать трудно) с опускающимися двойными окнами, все обитое сукном, изнутри уставленное мягкими сидениями вроде диванов или постелей. Стены фургона состояли из ящичков, ящичков, сундуков, сундучков, сумок и сумочек. На передней стене имелось большое подобие фонаря с керосиновой лампой. Вес этого фургона, по нашему мнению, в полтораста пудов, а сколько лошадей возило его в самое время, — мы и представить себе не в состоянии... Мы знаем только, что в «Ноевом ковчеге» ездило иногда по четыре помещика и трое прислужников: два кучера и лакей, помещавшийся сзади, где находилось отделение для провизии, то есть замороженных в лепешки щей, пельменей и пирожков.

Кроме «Ноева ковчега», в каретнике хранились сани, в которых, по преданию, ездил сам Петр Алексеевич, основатель того села Петровского, где мы жили. Вида эти сани сверхъестественного: высокие как эшафот, красные как клюквенное желе, проржавленные, со съеденным мышами сиденьем.

Мы часто с опасностью для жизни влезали на это сиденье... Но там обыкновенно бывала такая пыль, что через минуту из белых мы, к ужасу няньки Агафоновны, превращались в чернокожих. Поэтому мы быстро перебирались из саней Петра Алексеевича в карету бабушки Елизаветы Васильевны, а оттуда — в не менее необыкновенное, чем фургон, произведение природы и рук че-

ловеческих: в «ланду» \*, как называл его кучер тети Наташи, Федя Ненилин.

Это «ланду» представляло из себя почти столь же огромное помещение, как и «Ноев ковчег», но напоминало оно исполинское корыто, поставленное на колеса. Со всех четырех сторон «ланду» было снабжено скамьями и обито синим бархатом. Из каждого угла вверх поднимались саженные шесты, поддерживавшие раму, крытую кожей, с которой вниз спускались такие же кожаные занавески, двигавшиеся по проволоке, для того чтобы пассажиры при желании могли любоваться дорожными пейзажами. Таково было «ланду», в котором ездили наши прадеды.

Для полноты описания всех редкостей нашего каретника следует указать на массу рессорных и нерессорных бричек, тарантасов, дрожек и повозок, очень разнообразных по внешнему виду, но и очень схожих главным образом тем, что при малейшем движении всякий из экипажей издавал приблизительно такое же дребезжание и позвякивание, какие испускали из себя дрожки старосветской помещицы Пульхерии Ивановны \*.

Но Володю и меня не столько привлекали диковинные экипажи наших предков, сколько то общество, которое аккуратно по субботам собиралось в каретник на вечеринку.

Это общество состояло: из Ивана Ивановича Кочергина (председателя), кучера Семы, лакея Прохора, имевшего странное прозвище «Пивожралов», дворника Никифора, старого повара Фрола и еще из двух-трех случайных личностей, не имевших определенных занятий.

Дворник Никифор был огромного роста мужчина, лет под сорок, с добродушным, вечно ухмыляющимся лицом, с вытаращенными фиолетовыми глазами, русобородый

---

\* «Ланду» — правильно ландо: четырехместная коляска, с поднимающимся верхом.

\*\* Героиня повести Н. В. Гоголя «Старосветские помещики».

и кудластый. Именно к нему мы прежде всего и подходили с Володей, являясь на вечеринку в каретник.

Завидев нас, Никифор дружелюбно усмехался, брал на свои железные руки и, поигравши нами в воздухе, как шарами, помещал на козлы парадной кареты, с которой мы и слушали разговоры.

Общество всегда размещалось в каретнике следующим образом: на рундуке, то есть на длинном крытом ящике для овса, садился с неизменным своим подожком Сема (колченогий), возле него, на пне, помещался Прохор Пивожралов; Иван Иванович Кочергин, во внимание его привилегированного положения, усаживался на единственном в каретнике, правда, трехногом стуле; Никифор садился прямо на земляной пол, подобравши под себя по-турецки ноги; повар Фрол, по старости, укладывался на суконном «чапане» \*, а случайные посетители обыкновенно стояли вдоль незанятой экипажами стены.

Беседу всегда начинал Кочергин. Давши ей известное направление, он всегда солидно смолкал и во все остальное время с достоинством покуривал трубку, блистая в сумраке каретника своим единственным глазом. Первое время мы не спускали глаз с Никифора и его неизменной ситцевой рубахи с зелеными тараканами. Эта рубаха была самая любимая вещь Никифора; ею он даже гордился и рассказывал, что ему подарили ее «в самой Рассее» за тушение пожара на фабрике.

Мало-помалу разговор принимал интересный характер; в беседу вступался древний повар Фрол, который на вечеринках обычно разглагольствовал больше всех. И говорить он уж отвык, и рассказывал с пришептыванием, и рассказов-то его мы боялись, но не слушать не могли, и невольно со жгучим интересом тянулись к ним: они всегда касались домовых, леших, русалок, чертей и прочей нечисти, которых мы так боялись, особенно в сумерки.

Как уверял Сема, старик всегда врал бесшабашно, и

---

\* Чапан — крестьянский верхний кафтан.

Кочергин часто его останавливал... В таких случаях повар кипятился, краснел и клятвенно уверял, что все сказанное он видел лично, а что если не видел, то «провалиться ему на этом самом месте...». А так как Фрол после этой клятвы не проваливался, то приходилось верить истинности его слов.

Лакей Прохор тоже нередко рассказывал про сверхъестественное, но его речи наводили на нас далеко не такой страх: он больше любил распространяться насчет явлений природы, задавался вопросами, отчего идет дождь, гремит гром?

— Ежели гром гремит, разве это не сверху установлено?.. — любил спрашивать он. Он же верил, что облака состоят из льда, и что наши солдаты в русско-турецкую войну отламывали от них кусочки и для утоления жажды сосали как леденцы...

— Мой дедушка, Тихон Данилыч, даже к себе на побывку в деревню эти леденцы приносил! — рассказывал он при дружном хохоте всех слушателей, причем председатель Иван Иванович Кочергин останавливал его с досадою:

— Ну, ты!.. Не вдруг! Полегче на поворотах!

Для этого же Прохора не подлежало никакому сомнению, что дождь в солнечную погоду предвещает утопленника, что три удара грома говорят о пожаре и что крестообразная молния знаменует голодный год.

— А ежели, — уверял он, — ежели в крутящийся по дороге пыльный вихрь бросить раскрытый перочинный ножик, то он, по прекращении вихря, обязательно будет в крови!

— Почему же? — спрашивали его любопытные.

— Да потому, что им обязательно уколется ведьма, которая вихрь этот устроила... А вот если этим ножом с засохшею кровью ведьмы ткнуть в Иванов день какое-нибудь место в лесу, то непременно под ним очутится клад, ей-богу, лопни глаза!

Дойдя до клада, Пивожралов становился очень красноречивым. Сонные глаза его оживлялись, и весь он пре-

ображался... В разговорах его все чаще и чаще начинали мелькать ведьмы, лешие с их дикими криками: «шел — пошел, нашел, ушел», русалки и всякие бесы... Нам опять становилось страшно. Заметив это, Никифор быстро подходил к нам, весело ухмылялся и спрашивал:

— А не спеть ли «петербургскую дачу»?

Мы с восторгом изъявляли свое согласие, и Никифор стаскивал нас с козел. Поставив нас перед собою, он сел сам, чтоб уравниаться с нами в росте, на корточки и начинал свою «дачу», везде вместо звука «е» ставя, по своему выговору, «я».

«С пятабургской новой дачи  
Да — ваяжал мужик на кляче,  
Чавой-то вязет,  
Чавой-то вязет...

Здесь Никифор останавливался и смотрел на нас. Мы знали, что это значило: Никифор должен был во время этой остановки «закусить». Поэтому Володя протягивал к его рту палец. Певец делал: «гам!» — и начинал, строя гримасы, щелкать зубами как волк. Это нам казалось очень забавным, мы смеялись, а Никифор тем временем продолжал:

«Во втором возу гряхиха,  
Да — подбегал я, — рогачиха;  
Стали торговать,  
Стали торговать...»

Все общество с вниманием прислушивалось к пению Никифора. За «петербургской дачей» следовало: «Ключник Микита», «Собачка», «Чепуха» и много-много других песен.

Репертуар Никифора приходил к концу, а мы, разохотившись, все просили его петь, зная, что финалом будет «татарская» сказка «Игергага».

Собственно говоря, и вся песня состояла из одного нам непонятного слова «игергага», в котором Никифор,

по своему произволу, менял первый звук... Басурманская сказка получалась в следующем виде:

«И — гергага, Гу-гергага,  
Я — гергага, Да — герга...»

Все хохотали и над остроумием Никифора, и над нами... Но в то время мы были вполне уверены в том, что Никифор поет по-басурмански, и приходили в восторг от этой «татарской» песни...

После «Игергаги» старый каретник засыпал. Все расходились...

## НАШИ ПРАЗДНИЧНЫЕ ЗАБАВЫ

На Пасху и святки к нам съезжалось довольно много гостей, большею частью родственников. Приезжали помещики, по деревенскому обычаю, всей семьей, зная, что в нашем доме найдется достаточно места.

Нас интересовали, конечно, не столько взрослые, сколько наши сверстники, в обществе которых мы проводили время очень нескучно.

Во время Пасхи у нас преобладали театральные развлечения, на Рождестве — костюмированные вечера.

Устроительницей спектаклей являлась всегда мама. Она выписывала пьесы, шила костюмы, клеила бутафорию; она же бывала и главным режиссером.

Ставили мы большею частью коротенькие сценки. Из больших пьес мы облюбовали только одну, постановку которой наши тетки считали для нас неприличной, а именно — «Петрушку». Мама тоже сначала протестовала, но потом не стесняла нас, и мы с большим увлечением играли сатирическую картинку, которая, действительно, была очень бестолкова и грубовата, но не содержала в себе ничего неприличного.

Заглавную роль играл обыкновенно я. И костюм мой, в котором я представлял Петрушку, был довольно оригинален. Я надевал красные шерстяные чулки матери,

в которые уползал до самого живота, а на плечи натягивал ее же фуфайку, тоже красного цвета, — ее мама носила, будучи еще институткой. На голову надевался большой колпак из сахарной бумаги, оклеенный красною бумагой и снабженный такой же кисточкой. Что касается до гримировки, то она была крайне несложна: старший брат мой, Саша, обжигал на свече пробку и усердно намазывал мне ею брови, подводил усы, — Петрушка был готов.

Громадная бабушкина простыня, повешенная на кольцах в зале, изображала занавес. Мест для зрителей в просторной комнате было много. Первые ряды состояли из кресел, затем шли венские стулья для более простой публики и в конце помещались скамьи для прислуги.

Зала освещалась десятком ламп. Публика, обыкновенно, переполняла зрительную комнату, и, пока артисты загримировывались и проготавливались к выходу, в ней стоял гомон, заставлявший замирать наши сердца. В первых рядах усаживались деды, тетки и дяди; затем размещались хорошие знакомые, далее сидели лавочники, за ними — наша прислуга и, наконец, наши постоянные спутники по лесам и лугам — крестьянские ребятишки.

Иван Иванович Кочергин исполнял обязанности «помощника режиссера», иными словами — звонил в колокольчик и отдергивал занавес.

После троекратного перезвона начинался спектакль. Затаивая дыхание, я выходил на сцену и говорил неуверенным голосом:

Бонжур, нарумяненные старушки,  
Молодые старички!  
Я, мусье фон-герр Петрушка,  
Вас забавлю своей шуткой  
Да и с праздником поздравлю

— Shoking! — доносится до меня после слов: «нарумяненные старушки»... Но я уже не робею; я знаю, кто это протестует в передних рядах: наша тетушка Аглая

Леонидовна, скорбящая о том, что дворянские дети избражают клоунов.

После некоторого вступления, которое я выпаливаю перед публикой, на сцену является с огромным кнутом в руках Саша. Изображает он цыгана и на этом основании одет в вывороченный тулупчик, а лицо свое он вымазал углем до такой степени, что его зубы и белки глаз блестят как бриллианты.

Его появление вызывает продолжительный смех в публике, сидящей на скамьях и табуретах. Для увеличения произведенного эффекта он изо всей силы щелкает кнутом и говорит басом:

Здравствуй, славный герой Петрушка,  
Мне понравились твои прибаутки,  
И готов я сам себя заложить,  
Чтобы только тебе удружить.

Я уже забыл, какими словами заставляю я плутова того цыгана «удружить» мне. В результате, однако, мы начинаем торговаться; цыган предлагает мне купить у него лошадь. Я спрашиваю: «где лошадь?», и цыган зазывает меня за кулисы. Мы преспокойно уходим туда. Публика верит нам на слово, что лошадь за кулисами, — не приводить же в самом деле лошадь сюда в залу?..

Мы возвращаемся на сцену, уже совершив сделку. Но тут кто-то объявляет, что лошадь у цыгана краденая... Что происходит дальше, я уж не помню. Кажется, бьют цыгана, и Кочергин задерживает занавес при дружном хохоте деревенских ребятишек.

После «Петрушки» наступает литературно-вокальное отделение. Первым номером выходит на сцену самый маленький из нас — Володя — и важно декламирует:

Пряник шоколадный — чудо, загляденье,  
Если его скушать, — просто объеденье.

Интеллигентная публика аплодирует. Володя раскланивается и, счастливо улыбаясь, покидает эстраду.

На сцену является хор. Трое из нас и человек пять



двоюродных братьев; между ними — кадетик, перво-классник Гриша, который уверяет, что у него бас.

Выстраиваемся полукругом. Саша начинает, за ним следует весь хор, кроме Гриши:

Все мы песни перепели,  
Все мы песни перепели.

Хор смолкает, и кадет Гриша выводит соло своим «басом», для полноты звука вместо «е» изображая «э»:

Пэрэпэл! пэрэпэл, пэрэпэли!

Саша запекает хорошим дискантом:

Одной песни не допели,

и Гриша, вновь напыжившись, якобы басит:

Нэ допэл! Не допэл! Нэ допэ-ли!

Лицо его багровеет и покрывается потом, глаза мечут молнии, но сам он в восторге, потому что искренно верит в свой «бас».

И эта песня оставляет в зрителях хорошее впечатление. Нас вызывают бесконечное количество раз.

В заключение вечера — мой выход. В то время у меня была такая чудесная память, что я мог наизусть слово в слово читать целиком излюбленные мною произведения. Выходил я на сцену и читал отрывки разных повестей, стихи и целые сказки, а некоторые из зрителей следили за тем, точно ли я говорю слово в слово, по книгам. Из стихотворений я в особенности любил декламировать переводную поэму Жуковского о жадном епископе Гаттоне. Эту очень длинную сказку я читал без запинки.

Вечер кончался. В награду исполнителям раздавались сласти. Насколько помню, мама аплодировала нам больше всех.

На святках у нас обыкновенно происходили костюмированные балы. Одна из бесчисленных тетушек любезно

принимала на себя обязанности таперши. Гостей съезжалось видимо-невидимо; не мало приезжало и барышень, т. е. девочек, наших ровесниц. Разумеется, мы одевались по-бальному, — в самые лучшие платья. Вначале, часов до восьми, вечера не бывали костюмированными; а затем мы обычно ожидали приезда масок; тогда становилось шумнее, оживленнее; мы маскировались и сами.

Та зала, в которой на Пасху ставились театральные представления, теперь преображалась в танцевальную и так же ярко сияла от множества ламп и канделябров; и вся-то она была переполнена расфранченными маленькими парочками! Казалось, что в зале — царство сказочных карликов. Большие входили к нам лишь для того, чтобы посмотреть на танцы; в наши же разговоры они обыкновенно не вмешивались.

А разговоров было так много!.. И были они так оживленны! Каждый кавалер из всех сил старался занимать свою даму и в порыве самоотречения отказывался для нее даже от своей порции десерта... Но вот те-тушка уселась за фортепиано, все становятся в пары, начинается полонез.

Этот танец у нас велся особенно: все танцоры состояли из мелкоты, за исключением лишь одной первой пары. А этой первой парой у нас всегда бывали самые старые из наших гостей: прадед Петр Петрович, генерал чуть ли не екатерининских времен, весь бритый, согнутый в дугу и нюхавший табак, и бабушка Елизавета Дмитриевна, хотя и напоминавшая собою какую-то королеву, но писавшая «каракулями» в четверть аршина.

Полонез всегда проходил очень оживленно; за ним начинались вальсы, кадрили и польки. Мы с интересом смотрели на часы, зная, что как только пробьет восемь, появятся маскированные. О появлении их мы догадывались по тому, что двери танцевальной залы в момент их приезда запирались. Правда, через десять минут они вновь раскрывались, — и тут-то начиналось веселье!

Огромная зала наполнялась ряжеными. С жадным любопытством рассматривали мы пеструю толпу взрос-

лых, для нашего удовольствия из мирных российских помещиков обратившихся в длинноносых греков, черных негров, арабов, турок, испанцев.

Среди костюмированных мы находим одного весельчака-дядю, который оделся поваром, заложив себя со всех сторон для полноты талии подушками. На голове его красуется белый колпак. Дядя ходит между нами, добродушно усмехаясь и отпуская на все стороны шутки, а мы чуть ли не десятками виснем на шею этому богатырю, который носит нас, как пушинки.

Ближе подвигается вечер и ночь, и все шумнее и оживленнее становится в зале. Среди маскированных появляются разные животные: медведи, волки, ослы, львы; два или три козла пресмешно пляшут в сторонке. Молодая публика старается как можно основательнее пощипать их... Затем в залу входит слон, чрезвычайно похожий на тех, которых мы видели на картинках, только ноги слона обуты в лакированные башмаки. За слонем шествует лошадь, постукивая копытами. В ней мы узнаем нашего повара Фрола. Только он умел так хорошо наряжаться лошадью.

Но вскоре наше ликующее светлое настроение сменяется паническим ужасом. Залу наводняют лешие, ведьмы, водяные, бесы и всякая нечисть. В воздухе пахнет чем-то вроде серы; появляется в разных углах пламя, синее, красное и зеленое, навевающее жуть даже на самые храбрые сердца... Бесы подступают к нам с пронзительным воем; а мы уже забыли свою обязанность защищать наших дам до последней капли крови. Мы сами прячемся в углы... В наивном страхе мы верим, что перед нами не дяди Васи, Миши, Алеша, а сущие враги человеческого рода.

Но вот бесы начинают хохотать и разговаривать по-французски... Мы приходим в себя и, смеясь своему маленькому малодушию, с некоторым смущением поглядываем на своих дам. И уж так-то весело пляшем мы, набравшись храбрости, с этими ведьмами и бесами!.. Танцуя с ними, мы стараемся подергать злых духов за

хвосты, за бороды и вообще как-нибудь насмеяться над нечистью.

Зато ночью, когда мы, по окончании бала, укладываемся спать, — ночью нам страшно. Черные рожи мерещатся в сумраке спальни...

С трепетом жмемся мы на своих постелях и, чтобы не видеть бесов, с головою закрываемся одеялами...

## АЛЕКСАНДР КОНЮШОК

Припоминается мне теперь длинная, седая, почти серебряная борода, похожая на веер, красное, изъеденное рябинами лицо, с добрыми светлыми глазами, утонувшими где-то в морщинах щек, большая лысина, обнаруживающая неровный череп, и нависшие косматые черные брови.

Александр сидит на крыльце своего древнего покосившегося дома. Весь утонул он в ласковой зелени лип; липами засажен и небольшой кособокий дворик, плохо загороженный ветхим, как и сам хозяин, плетнем; цветущие тыквы и хмель ползут по плетню; под деревьями приютились огромные ульи, полные меда и пчел. Эти пчелы гудят и вокруг нас.

Александр сидит, опустив голову и, медленно, с наслаждением набивает старую, полусъеденную огнем, трубку махорочным табаком, смешанным с липовым цветом для того, чтобы «груди легчало».

Я разлежся на крыльце подле старика и то с завистью смотрю на его серебряную бороду, то мысленно уношусь за хилый, почерневший плетень, за которым сейчас же, посреди мелкого березняка, бежит шумящая речка с необыкновенно прозрачной и холодной водой,

Шумно в осокоре; галки кричат, ломают сухие ветви и носятся на неизмеримой высоте.

С любопытством смотрю я и на летнее небо, полное бродячих тучек-«бычков», и на заскорузлые руки старо-

го Александра, которыми он мнет табак и набивает трубку. Трубка готова.

— А ну, курнем разок, — с наслаждением говорит Конюшок.

Мне тоже нестерпимо хочется «курнуть», хотя я и не курил никогда.

— Дай, Александр, и мне затянуться, — прошу я.

Старик делает озабоченное лицо.

— Не гоже, Павлинька, — строго говорит он, хмурия косматые брови. — Вам ли, барчукам, таковский табак курить? Да от него сгоришь.

Это производит на меня впечатление. Заметив, что я опечален, Александр добродушно прибавляет:

— А вот медком я вас побалую.

И уж выносит из прихожей старое решето, глиняную чашку и ножик. Надевши решето на лицо, он идет, помахивая ножом, и я со страхом слежу, как старик раскрывает улей, как облепляют его пчелы, и как спокойно и уверенно режет он сочный мед...

— Кушайте, Павлик, — говорит он мне, подавая чашку. И я жадно ем теплый мед.

— А много есть не годится, — останавливает меня Александр, добродушно усмехаясь. — Золотушным сделаетесь.

Мне раз объяснили, что кучер наш Сема захромал от золотухи, и я очень боюсь сделаться хромым.

«Теперь бы «в поле» поехать», — раздумываю я.

Выражение «в поле» мы понимаем с Александром широко. «В поле» — для нас значит: ехать в лес, в луга или горы, но непременно с тем, чтобы варить там, на вольном воздухе, суп, жарить на углях «шашлык» и пить чай с медом.

— Право, хорошо бы поехать, — повторяю я, поворачиваясь к Александру.

Конюшок почти всегда соглашается.

— Что же, — говорит он, — «в поле» так «в поле». Извольте только маменьку спроситься да велите «карандас» заложить. А я и медку наломаю.

В восторге я бегу через улицу в наш старый дом и по дороге натыкаюсь на братьев, играющих в горелки с крестьянскими мальчиками. Старший, Саша, смотрит гораздо солиднее меня. Он уже гимназист второго класса и знает наизусть латинские предлоги в стихах:

«Анте, апуд, ад, адверзус,  
Циркум, цирку, цитра, цис»...

Как завидно мне, что он знает стихи латинские; как завидно смотреть мне на его форменную фуражку с двумя серебряными веточками!.. Боже мой, когда у меня будет такая фуражка!..

Когда я ему сообщаю свое решение, он одобряет с большой солидностью, заметив, что возьмет с собой сетку для ловли бабочек. Вместе с младшим, Володей, мы бежим домой и сразу, без предисловий, как балованные дети, осаждаем мать своими просьбами.

Та не соглашается лишь тогда, когда нет свободной лошади или верного человека для сопровождения нас на пикник. С Александром же нас отпускают охотно; взапуски бежим мы к хромому кучеру Семе сообщить ему о том, что пора закладывать «Гнедышку» в тарантас.

Колченогий Сема радуется предстоящей поездке не меньше нас, хотя он и делает вид, будто недоволен тем, что его потревожили. До этого момента он, по обыкновению, спал на сеновале в душистом сене.

— Ехать-то ехать, — ворчливо говорит он, — а ведь у меня и «карандас» не подмазан. Да!

Мы торопим его, Сема вздыхает, чешет затылок и начинает сползать с сеновала на землю. И с любопытством мы смотрим, как он, хромой, ловко и смело спускается по лестнице.

Между тем Саша с ватагой мальчиков уже вывозит из каретника «тот «карандас», на котором мы поедем в поле. Беловолосые ребятишки с гиканьем скачут по старой, вылинявшей обивке длинных дрог с громадными, словно птичьими, железными крыльями; это и есть наш полевой «карандас». Особенно примечательно в нем

кучерское сиденье; оно открывается и снабжено целой системой клеточек для посуды и провизии... Аккуратный «карандас», что и говорить!

А в доме няня Агафоновна уже собирает нам разные пожитки: в наволочку — хлеб и закуски, в холщевый мешочек — сахар, в микроскопическую жестянку — чаю. Тут же кладет она три серебряных ложки и одну мельхиоровую для Александра и ворчливо говорит мне, грозя согнутым пальцем:

— Смотри, не потеряй. Намедни одна ложка кикнула!\*

Иду в следующую комнату. Там мама накладывает в баночку варенья. В узелке здесь же лежат и карамели. Они попадают ко мне в карман, и мы крепко целуемся.

Снова выхожу на заросший подорожником двор и вижу, что Сема уже ведет от колодца «Гнедышку», напоив ее перед дорогой. На тарантасе уже сидит готовый к выезду Александр. На нем черный, удивительно смятый картуз, очень большой, смешно оттопыривающий ему уши, и коричневый пиджак с клетками.

— Взяли бы вы рачни!\*\* — говорит он. — Раков бы маменька покушали.

Мы с радостью ухватываемся за эту мысль и выносим из каретника рачни. А Саша уже тащит из погреба мясо, которое Александр на месте немного прокоптит, чтобы шел «рачий дух»...

Тарантас оказывается подмазанным. Выясняется, что Сема говорил о неготовом к дороге «карандасе» исключительно из желания поворчать. С воркотней же закладывает он Гнедого, рассуждая с ним, как с человеком, а той порой Саша уже набивает удивительное кучерское сиденье всякого рода провиантом.

Мы усаживаемся на места еще много раньше, чем лошадь заложена; мама выносит теплые пальто, и мы подкладываем их под себя на случай дождя. Няня Ага-

---

\* Кикнула — здесь в значении пропала.

\*\* Рачни — плетеные из тонких веток ловушки для раков.

фонозна снова держит краткую, но сильную речь Александру и нам, остерегая первого от небрежности, а нас от лихой беды и кончая речь напоминаем о серебряных ложках, из которых одна «намедни кикнула».

Наконец лошадь готова. Сема взваливается на облучок, переполненный снедами; под дрожинами \* уже прикреплены Александром «рачни»; мама напоминает нам о том, чтобы мы не упали с экипажа и не сломали руки и ноги; тут же вкратце приводит давно известное нам содержание нескольких излюбленных ею анекдотов о несчастных случаях с знакомыми и родственниками. Сюжет во всех «случаях» одинаковый: нельзя выскакивать на ходу, ибо некий поручик Фикстель сломал себе ногу, а у бабушки Татьяны Львовны, упавшей из экипажа, вскоре сделался тиф.

Сема вытягивает губы и говорит лошади неуверенным голосом:

— Нну, пошла!

«Гнедышка» сразу дергает; от неожиданного толчка мы стукаемся друг о друга головами; мама нас крестит и идет к воротам, убеждая хромого Сему, чтобы он «не гнал лошадей».

Ватага мальчишек сопровождает нас по улице; на повороте мы оборачиваемся, зная, что за нами смотрит мама, и машем ей шляпами.

И вот мы едем уже за селом, миновав пышущие огнем «кузни» (кузницы). Дорога наша лежит мимо «горжеников», полных хлеба и соломы. Тучи диких и домашних голубей сидят по копнам и ометам\*; немало их разгуливает и по дороге, и с горящими глазами рассказывает Саша, что на будущий год купит себе ружье и будет стрелять.

Но неодобрительно отзывается об охоте Александр. Он называет ее грехом; сам он никогда не стрелял, и

---

\* Дрожина — продольный брус, связывающий переднюю и заднюю ось повозки.

\*\* Омет — сложенная большой кучей солома.



пространно и горячо рассказывает о том, как тоскует голубь по убитой голубке:

— Ходит он, ходит, и крыльями бьет по земле и все стонет: «курр... курр...», а голубки уже нет: ее убили...

Мы сидим, придавленные рассказом, держась за руки и переглядываясь; да и сам охотник Саша отворачивается в сторону, потому что чувствует, что у него зачесались глаза...

Тонкая черная пыль клубится под ногами лошади; нас удивляет, почему она вьется у экипажа только с одной стороны; пересаживаемся на другую, слушаем слегка монотонное пение Семы о том, как «на серебряной реке на золотых песочках» он «от деви молодой ожидал следочков», и поглядываем на переполненные простенькими цветами поля... Какие они милые, какие милые!

Александр знает, как называется каждый цветик, и любит рассказывать о том, как они живут. У него есть травы любимые и нелюбимые, цветы праведные и грешные. К любимым цветам он относит кашку и колокольчики, не любит репейник, грешными почему-то считает «волчьи ягоды», а нежные, разлетающиеся от дуновения одуванчики пресмешно называет «ветеранами».

Подъезжая к месту стоянки, мы соскакиваем с «карандаса» и бежим взапуски, обгоняя лошадь, что очень легко. А за нами бежит и Саша, забывши, что на нем фуражка с серебряными веточками, и громко кричит:

— Стойте, вы! «Анте, апуд, ад, адверзус!..»

Съезжаем вниз, к небольшой речушке «Асель», и останавливаемся под тенью вяза. Старый Александр расстилает мохнатый коврик и разгружает сиденье кучера Семы; а вот и Сема уж распряг Гнедого и, ковыляя, сводит его в прохладу.

Мы лежим и смотрим:

Александр разводит огонь, набравши сухих сучьев и коры. Весело трещит огонь, едкий дымок распространяется вокруг; с любопытством глядим мы, как старый пчеловод коптит на дыму куски мяса «для рачьего духа», и бежим вместе с ним ставить рачни. На берегу неглубо-

кой речки мы уже находим Сему. Он страстно любит ловить раков и говорит нам, улыбаясь во весь рот:

— А ну-ка! Дай-ко-ся я закину!

И с завистью мы смотрим, как он то и дело вытаскивает полные темно-шоколадных раков рачни. Счастье ему в ловле всегда бывает поразительное. Маленького Володю один из раков наказывает за любопытство; он принимается голосить, но пришедший на помощь Александр прикладывает к ранке на его пальце какую-то травку, — и Володя уже улыбается.

Вместе со стариком мы идем к костру. Сема остается ловить раков в одиночестве, но это его нисколько не печалит. Он очень суеверен; ему в особенности не нравятся мои глаза, которые, по его мнению, могут «озадачить охоту». (Сема ловлю рыбы, птиц и раков одинаково называет охотой.)

— Глаз у тебя не светлый, — объясняет он мне. — Рак боится такого глаза. Не пойдет, нет. Я знаю... А вот мой глаз — свежий. Раки меня любят.

Александр варит суп, который в поле кажется нам необыкновенно вкусным; масса комаров, что кружатся в воздухе, не лишают нас ни хорошего расположения духа, ни аппетита; в особенности же нравится нам поджаренный на углях и прокопченный в дыму шашлык.

Сема приходит к обеду и тут же, громко чавкая, опорожняет одну посудину за другою... Александр ест мало и все рассказывает о прежнем житье помещиков. Он любит рассказывать и повествует с увлечением, особенно о своих, давно уже умерших «господах», о том, как езживали они в горы варить малиновое варенье, — с гостями езживали, всеми семьями; как веселились они, богатые баре, какие песни певали, какие угощения устраивали. Рассказывает и о том, какое небо бывало тогда утром — легкое да ясное, а ночью — темное и «прозраливое»; какая луна восходила в те поры — большая и красная, какие вечера падали на землю — темные, беспросветные; как к стоянкам бар волки подхаживали, и как разгоняли их огнем помещики...

А мы, лежа на ковре, слушаем, не сводя глаз с тускнеющего неба, уже меняющего чудную лазурь на бирюзу и опал и алеющего на закате...

И жутко, и хорошо... Светлое весеннее время, где ты?..

## В СУМЕРКИ

Как-то раз перед вечером мы жестоко поссорились с Володей. Повод был ничтожный. Он унес из моего сундучка чучело голубя и хотел подвергнуть его расстрелянию из самострела, который смастерил ему Кочергин.

Я заметил Володю в то время, когда он нес голубя под мышкой к каретникам, где и должна была произойти смертная казнь. По самострелу, который лежал у него на плече, я догадался, какая судьба постигнет Володину жертву; первым намерением моим было — вырвать чучело из рук брата, изорвать тетиву его самострела, но сейчас же я передумал: для того, чтоб у него не было пустых отговорок, я решил поймать его на месте преступления.

Поэтому я не крикнул ему ни слова, а, затаив дыхание, последовал за братом, извиваясь в лебеде и репейниках так осторожно, как это делали в свое время индийцы Густава Эмара.

С замиранием сердца следил я за быстро удалявшейся фигурой Володи: чтобы не открыть себя, мне пришлось ползти медленно и бесшумно; пришлось значительно отстать и приползти к месту казни уже в то время, когда чучело голубя было поставлено Володею на березовый пенек и он уже доставал из кармана набранные у тетушкиного крыльца разноцветные гальки.

Сидя в густой лебеде, я с ярой злобой следил за движениями брата; я видел, как он осторожно огляделся по сторонам, как бы желая убедиться в том, что за ним никто не подсматривает.

И уже положил он камень на желобок самострела,

как я, не сдержавшись, выбежал из засады и бросился на Володю. Что-то я крикнул, — теперь уж не помню, — я схватил его за руку.

Помню, Володя испугался, покраснел, замигал глазами, сделался таким жалким-жалким; но я не рассудил в то время, что своим испугом и раскаянием он уже загладил свою вину, а оттолкнул его в сторону, наступил ногами на самострел, ухватился за тетиву и рванул ее изо всей силы. Должно быть тетива была крепкая, потому что раздался треск дерева, и лук переломился надвое... Самострел был загублен безвозвратно; это я тотчас же заметил по побледневшему лицу брата и по его отчаянному плачу.

О, конечно, я не хотел испортить его самострела; я желал только проучить его, оборвав бечевку, которую легко было найти через минуту; но слезы Володи и в особенности его крик привели меня в состояние какого-то тупого, темного раздражения. Я снова подбежал к нему, ущипнул за руку и бросился бежать к дому, смутно надеясь, что причиненная Володе боль заставит его прекратить плач.

Так оно и случилось. Все стихло, и я бежал, задерживая дыхание, с тяжелым чувством собственной вины и упорного, несправедливого ожесточения. Вскочив на площадку крыльца, я обернулся назад и с тем же неприятным чувством заметил, что обиженный молча и жутко бежит за мною; я почувствовал внезапно, что должно совершиться что-то нелепое и отвратительное, и вбежал в дом.

На бегу я соображал, куда бы укрыться от Володи; сначала мне захотелось пробежать в детскую, но я сейчас же раздумал и скрылся в пустой, темноватой, огромной зале. До сих пор не забыть мне запах резеды, переполнявший комнату; вихрем пронесся я мимо старухи няньки Агафоновны, вязавшей косынку, — и это помню...

Забившись в темный угол около огромного, черного дерева, кивота, полного старинных образов, я с томлением ждал, что брат прибежит сюда; я уже был уверен,

что он прибежит, — это казалось мне почему-то необходимым.

Помнится, заслышав топот его ног, я инстинктивно посмотрел на противоположную дверь. Еще была возможность избежать того, что должно было произойти... я уже колебался... но внезапно всю душу мне заполнило огромное и тяжелое чувство гордости; мне стало вдруг стыдно бежать, и я гордо выпрямился.

В это время на пороге залы показался Володя, — все такой же бледный, с широко раскрытыми глазами; в одной руке у него был изломанный самострел. Близко подбежав ко мне, он бросил на диван свое оружие и вытянул вперед руки... через секунду мы впились друг другу в плечи руками и щипали один другого в отвратительном молчании, не издавая ни звука, несмотря на боль, и было что-то особенно скверное и страшное в этой молчаливой, безобразной драке. Теперь у меня уж вычеркнулось из памяти, как мы разошлись и скоро ли; я могу лишь припомнить, что хотя мы и помирились, но нам было очень совестно подходить друг к другу; все это произошло в сумерки, и было легче, когда тьма распространилась по комнатам...

Спать мы легли раньше обыкновенного. Лежать на постели было душно. Мне не спалось. И я лежал долго, с открытыми глазами, устремленными на потолок, и тяжело думал о происшедшем.

У нас в первый раз в жизни случилось это с Володей; конечно, мы ссорились друг с другом, бранились; но всегда от этих вспышек не оставалось никакого следа; обыкновенно мы бежали жаловаться к матери или, чаще, к няньке Агафоновне; та ворчливо корила нас обоих и, сердито нахмурившись, грозила нам своим согнутым пальцем; грозила она одинаково и правому, и виноватому, — и это было смешно; мы улыбались, смотрели друг на друга невозмутимо ясно, и повод недоразумения казался нам таким ничтожным и вздорным...

В этой же последней ссоре все носило серьезный и мрачный характер, — все, начиная с моего нелепого

щипка, молчаливого бегства и этой немой, отвратительной драки...

Лежа я припоминал лицо Володи и задавался неразрешимым вопросом о том, отчего оно было бледным, — от боли или от той несправедливости, которую я допустил?.. Моя жестокость почему-то представлялась мне в виде огромной ядовитой змеи, которая ужалила брата, и тот должен был умереть.

Осторожно приподнимался я на своей кровати и смотрел на постель Володи; его не было видно, — он весь был прикрыт одеялом и поднявшимся углом подушки, но можно было без труда рассмотреть лежащий у постели, поломанный мною, его самострел; постепенно душу мою стало охватывать желание загладить свою нелепую вину. Я старался заснуть, забыться, но не удавалось это. Жажда загладить свой грех делалась все нестерпимее... Лежать становилось уже трудно... и я сел на кровати.

Затем почти мгновенно созрело во мне решение: надо идти к Кочергину и просить его сделать к самострелу новый лук!..

Неслышно я соскользнул с постели, забрал лежащий подле Володи самострел и ползком выбрался из комнаты. Миновав спальную, я на цыпочках пробрался в комнату горничной Даши, которая, как я знал, имела привычку спать с открытым окном. Через это окно я спустился на террасу и побежал по двору к старой кухне, где обитал Кочергин. Собаки залаяли на меня и окружили с ворчанием; но, узнав, лениво разошлись в стороны, махая хвостами. Я подошел к кухне; входная дверь никогда не запиралась, а прямо против нее находилась каморка Кочергина. На мой стук послышалось сердитое сипенье... Кочергин крикнул заспанным голосом:

— Чего, булгачите?

— Отворите, Иван Иванович, — просил я. — Отворите скорее!

Долго стояло молчание... Наконец зашлепали старые туфли, и Кочергин спросил через дверь:

— Это ты, Павлик? Чего тебе, малец, ночью понадобилось?

Ничего не отвечая, я с воплями забарабанил в дверь кулаками. Дверь отворилась почти моментально.

— Иван Иванович, самострел! — всхлипывая закричал я, протягивая к нему поломанное оружие.

Лицо Кочергина внезапно побурело.

— Чего? — грозно протянул он.

— Самострел... Володя... я сломал, — лепетал я.

Иван Иванович близко склонился к моему лицу, как-то странно, разгневанно зашипел, молча взял меня за плечи, повернул и, выведя из кухни, захлопнул дверь на крючок.

Все это совершилось в несколько секунд... Я даже перестал плакать, — до того было мне больно и совестно. Крадучись, я снова неслышно пробрался в спальную и улегся на кровать.

Уже начинало светать; в окна сквозь щели ставней проползали тонкие, как листы бумаги, голубые лучи света; они постепенно мешались с темнотой, нападая на нее; делалось светлее; стали выступать с некоторой ясностью контуры предметов... А я все лежал с раскрытыми глазами, и медленно двигались в моей голове медленные и печальные мысли...

Вдруг легкий вздох долетел до слуха; печально и жутко вздрогнула под ним душа. Я приподнялся на подушках, всмотрелся. На Володиной кровати не было заметно движения, но я знал и чувствовал, что вздохнул именно он, а не Агафоновна, мирно храпевшая в уголке.

— Володя, Володя! — крикнул я. — Ты не спишь?

— Нет, — отвечал тот.

— Почему?

— Не хочется.

Молчание повисло в воздухе. Я чувствовал, что было необходимо что-нибудь сказать, но слова не срывались с губ, и язык был как свинцовый. Только после долгой паузы удалось мне проговорить:

— Это ты вздыхаешь?

— Нет, — тихо проговорил Володя.

Мы опять помолчали.

— Позволь мне придти на минутку к тебе, — неуверенным голосом попросил я, чувствуя, что брат мне в этом откажет.

Но я ошибся. Володя не промедлил ни минуты своим ответом:

— Приходи!

С виноватым, растерянным смущением полез я к нему на кровать. Улеглись оба под его одеялом и молчали. Неприметно я разглядывал его лицо, ожидая найти в нем гнев или раздражение; но оно было спокойно, и именно это спокойствие принижало меня. С жутким интересом заглядывал я ему в глаза и внезапно вздрогнул: на обнаженных плечах его я заметил большие черные пятна.

— Что это, Володя? — со страхом и стыдом проговорил я, внутренне зная, что это сделанные ему мною синяки.

— Ничего; я ушибся, — отвечал брат.

— И тебе больно? — с трудом проговорил я.

— Нет, — сказал Володя и отвернулся.

Опять молчание. Я уже не мог не смотреть на большие крупные пятна, которые в сумерках казались черными.

— Володя, это я тебе сделал, — тихо, с раскаянием пробормотал я, и что-то теплое и тонкое забегало, щекача, по моему лицу.

— Я сделаю тебе самострел... Я уже просил Ивана Ивановича... Нет, я сам сделаю!.. Володя, ты слышишь?..

...И теперь прошло сколько лет... И умер Володя. Столько огромных, скучных, тяжелых и медленных лет, свидетелей весны отходящей.

Умер Володя.



Гораздо раньше нашего выхода крыльцо старого дома переполняется крестьянскими ребятишками, нашими постоянными спутниками на рыбную ловлю.

Белые, черные и коричневые, но больше всего белые, как расчесанный лен головы усеяли перила крыльца. Еще не вполне одетые для выхода, мы смотрим в окно на эти кудластые головы, и они представляются нам исполинскими грибами: подосиновиками, опенками и груздями.

Среди собравшейся публики идет оживленный разговор. Темой его служит, конечно, предстоящая «охота с бреднем», то есть сетью, укрепленной с двух сторон на «клешни», или колья. Ребятишки называют эту сетку «бредешком» и за удовольствие прикоснуться к ней готовы отдать чуть ли не полжизни.

Новенький бредень, красиво сплетенный, с отлакированными «клешнями», возбуждает в них почтительное восхищение. И они не только наперерыв предлагают себя в «бродильщики», но даже ссорятся из-за этой лестной должности, и мне с Володей приходится чинить суд и вести меж ними очередь.

Сидя на крыльце, мальчишки строят предположения, куда «барчата» направят сегодня свой путь. Одни высказываются за то, что «рыбалка» будет происходить в Животкиной канаве (название, данное нами одной из канав мельницы ввиду обилия там мелкой рыбы, или животки), другие стоят за «Аполлонов пруд», третьи — за «вершинники», или запруды.

Между бродильщиками поднимается такой шум, что на крыльцо выходит согнутая и подслеповатая няня Агафоновна и, грозно потрясая клюкою, кричит на рыбаков:

— Пошли, пошли-те, полоротые! Чего гаркаете; «га-га»! Ишь, зевластые!

Рыбаки на одну минуту приходят в оцепенение... Но после словесного предупреждения нянька внезапно дей-

ствуется клюкой, и ребятишки стремительно срываются со своих мест. Отбежав на почтительное расстояние и показывая няньке языки, они кричат:

— Хрычевка! Хрычевка!

Но тут, к счастью, из дверей дсма выходим мы. Володя является в большой соломенной шляпе с лентами и надписью «Мореход»; за поясом у него заткнут очень похожий на пилу дедовский кинжал, а в руках болтается сетка для рыбы; я, как старший, одет в турецкую феску с кокардой, на моем ременном кушаке болтается четырехгранная шпага гражданских чиновников, похожая на вертел и называемая моими домашними «мышеколкой». Но у этой «мышеколки» такой красивый золоченый эфес, что, когда я появляюсь на дворе со шлагой, уважение ко мне крестьянских ребятишек увеличивается по крайней мере вчетверо. С жадным любопытством рассматривают они мою шпагу и считают большой для себя честью пройти рядом со мною с той стороны, где висит у меня оружие.

Поднятый старой Агафоновной и маленькими рыбаками шум моментально стихает при нашем появлении; нянька обращается ко мне с укоризною и сердито говорит:

— Вот, какую ораву напустили!

Но она быстро уходит в свой чуланчик и предается там прерванному чаепитию.

А мы вытаскиваем из сеней бредень, который немедленно забирают ребятишки, накладываем в мешок провизию и уже собираемся уходить со двора, как нас останавливает знакомый мягкий голос:

— Володичка... Павлик... не утоните.

Мы оборачиваемся и видим за собою маму. Слова «не утоните» несколько обижают мое самолюбие: точно мы, в самом деле, маленькие, и как будто бы мама не знает, что в тех канавах, где мы ходим с бредешком, никогда не бывает выше полуаршина глубины. Оскорбленный, я холодно прощаюсь с матерью и, с достоинством оправляя на ее глазах свою «мышеколку», стрем-

люсь сделать так, чтобы она увидела столь украшающее меня оружие. «С этакой-то шпагой да утонуть... Какие глупости!..» Нисколько не затронутый в своих чувствах Володя прощается с нею гораздо сердечнее. Тем не менее мама доводит нас до ворот усадьбы и на прощание держит речь к ребятишкам, смысл которой заключается в том, чтобы они не баловались, не завели бы нас далеко и не утопили бы где-нибудь в озере.

Каждое слово ее терзает мою гордость; я вижу, что на маму мое оружие не производит впечатления. Слезы подступают к моему горлу, чешутся глаза; судорожно сжимая в руках бесполезную шпагу, я быстро отхожу вперед, но и там слышу уничтожающий меня возглас:

— Павлик, не торопись: еще запнешься, упадешь и уколешься. Отдай лучше шпагу. Я отнесу домой.

На это я отвечаю лишь мановением руки: обернуться я уже не в силах.

Но вот мы вступаем в овражек; заботливого голоса уже не слышно. Я понемногу успокаиваюсь, но пережитое волнение еще заметно на моем лице. Внимательным взглядом Володя выражает мне свое сочувствие и великодушно подает мне карамель. На оскорбленном сердце становится легче.

Мы вступаем на плотину Аполлонова пруда, переходим мостик и торжественно идем по канаве мимо купающихся крестьянских девочек. Наши рыбаки не выдерживают характера и бросают в купающихся комки земли. В ответ на это на нас летят такие струи воды, что мы с Володей, придерживая оружие, стремительно убегаем прочь от берега и идем по капусте, луку и моркови, где попало, лишь бы избежать холодного душа.

Однако уже близко «вершинники», где в этот день должно происходить «брожение».

«Вершинники» представляют из себя мелководную канаву, прорытую по наклонной плоскости от пруда в заросшую деревьями ложбину. Высота пруда над ложбиной превышает сажень, но «вершинники» нам кажутся еще выше оттого, что вода запружена широкими бал-

ками, поднимающимися над поверхностью пруда еще аршина на два.

За балками, чтобы не пробегала вода, наложены пласты хвороста, но вода прорывается через доски и прутья и шумными каскадами бьет вниз. Этот шум, по уверению детворы, привлекает рыбу; так ли это на самом деле, — мы с Володей не знаем, но только часто уходим с «вершинников» с полною сеткой ершей, окуней, ельцов и плотвы.

Наша ловля происходит так: двое из ребятишек становятся внизу, в ложбине, и загораживают бредешком речку. С этими ловцами обыкновенно остаюсь и я; Володя же и вся остальная ватага — отправляются вверх к каскадам. Там, по знаку Володи, рыбаки шумно бросаются на хворост и с криками бегают по нему, желая выгнать засевшую под прутьями рыбу. Но этого мало, для полного концерта пускаются в ход трещотки. А тем временем часть мальчиков раздевается и влезает с кольями в воду. Галдение усиливается; своими палками косматые рыбаки переворачивают все в речушке вверх дном. Они залезают под нависшие над водою ветви ив, березок и тополей, трясут их нещадно, бороздят кольями дно канавки, бросают в воду камни... Чистая и прозрачная вода канавы принимает цвет кофейной гущи.

— Щуренок, щуренок! — кричит один из бродильщиков. — Эвона какой: в руку! Эх, шмыгнул!

— Где щуренок? — допытывается Володя. Весь розовый от волнения и беготни по берегу, он размахивает ножом и порывается броситься под корни, куда указывают ему кричащие ребятишки.

— Врет, врёт! — отвечают ему другие. — Это коряга торчит, а он щуренка увидел! Филя!

— Налим, налим! — визжат в другом углу. — Какой склизкой!

Володя бросается туда, где нашелся налим. Действительно, иногда один из рыбаков, засунув руку в нору за раками, вытаскивает оттуда за жабры большеголового налима.

Но вот шумящая процессия спускается ниже и приближается к тому месту, где расставлены сети. Наступает торжественный момент. Даже самые завзятые говоруны смолкают. На всех лицах появляется выражение тревоги.

Я взглядываю на Володю. Он решительно побледнел, потому что сознает на себе всю ответственность, как руководитель «захода». Сейчас же, отвернувшись в сторону, глухим голосом я командую вынимать бредень. А ну, как ничего не окажется?!

Володя смотрит на ловцов растерянно, пока один из них делает поворот к берегу, двигает руками, хмурит брови... Все рыбаки сбиваются в кучу, и две дюжины испытующе встревоженных глаз устремлены на мутную воду.

Но вот бредень подведен наконец к берегу. Один из рыбаков спотыкается и, вместо налима, едва не попадает в сетку сам. Его высвобождают с лихорадочной поспешностью, тащат общими усилиями «бредешок» из воды. Холодные струи убегают назад с промокшего песка... А на разостланной по земле сетке барахтаются и подпрыгивают, сверкая на солнце серебряной чешуей, заловленные гольцы, окуни, плотва и малявки... «Заход» удален!..

С гордым торжеством смотрит на меня Володя.

## АГАФОНОВНА

Крошечная, высохшая, изогнутая в дугу, с лицом, состоящим словно из одной сплошной расщепленной морщины, с довольно густыми серыми волосами, резко выдавшейся вперед нижней губой и зоркими мышинными глазками, в минуты раздражения мечущими молнии, — вот какую рисуется мне моя старая няня Агафоновна. Я не знаю ни ее имени, ни фамилии — и не знал никогда. Больше того, я недостаточно уверен в том, что «Агафоновна» — ее настоящее отчество. Мне вспоминается, что отца няни звали как-то иначе; Агафоновной

же ее все зовут лишь потому, что муж ее назывался Агафоном.

Сейчас живет она у нас, в деревне, в нашем старом помещичьем доме. За три тысячи верст, чудится мне, вижу я нянину серую ватную кацавейку, которую она неизменно носит и зимой и летом, — кацавейку, из которой вата вылезает ежедневно хлопьями, и однако кофта все такая же плотная и удобная...

Вижу я Агафоновну и в ее клетчатом платке с райскими птицами, как-то особенно уморительно подвязанном на голове: когда няня в платке, ее голова напоминает мне березовый гриб.

Какая она расчетливая и как бережет наше добро, а в особенности серебряные ложки, — я уже говорил. Рассказывал я и о том, как ссорится она с деревенскими мальчиками, нашими спутниками на рыбные ловли, как свирепо грозит шалунам своею сучковатой клюкой и неразгибающимися от времени пальцами.

Я теперь расскажу, как наша няня занимается на скотном дворе коровами.

Агафоновна вообще очень любит хозяйство; как-то, раз навсегда, ей удалось захватить в свои руки власть на скотном дворе, и теперь за эти права она энергично борется со всеми домочадцами. Сначала ее власть выражалась в том, что никто, даже мама, не смел купить без ее совета ни одной коровы; потом, мало-помалу, в ее ведение перешли овцы и телята, а в настоящее время, говорят, ее власть распространилась и на кур.

Говорят (сам я достоверно не знаю), теперь каждое утро в сараях появляется с клюкою и решетом в руках Агафоновна и, ступая хлопающими по грязи калошами, созывает на кормление все куриное царство. Брови ее мрачно сдвинуты, одна рука скупно, — это ее отличительная черта, — разбрасывает зерна, а глаза зорко следят за тем, чтобы ни одно зернышко не пропало бесследно. Говорят, немало достается от Агафоновны жадным петухам; но этих сцен я сам не видал; я нарисую лишь ту, что стоит у меня перед глазами при самом воспоми-

нании о няне, — картину, как она добывает парное молоко.

Агафоновна сидит перед коровой Чернавкой, доит и говорит ей:

— Ведь сказывала я тебе, Марья Петровна (это относится к моей матери), — спортили в стаде твою корову, — не слушала! Теперь пляши вот. Совсем корова отлукавилась: нешто это молоко? Это вода колодезная, а не молоко. Стой, ты... Настоящее молоко густое, а это... а-апчхи! Здравствуйте! (Няня всегда, чихнув, говорит сама себе «здравствуйте»). Стой же! Я тебе завсегда скажу, Марья Петровна... не лягайся, ну! Вот купила корову без моего спросу, а я нешто обязана следить: по мне ты хоть лошадей покупай. А вот тебе мое крепкое слово: слушай старых людей, и будет тебе любо-дорого. А-апчхи! Правда! Здравствуйте... а-ах, разлила, негодная!

Этим всегда кончаются нянины речи, потому что корова не стоит и брыкается; погоревав над молочною лужей, няня опять ставит под Чернавку опрокинутое ею ведро и, не замечая, что в него нападали комья глины, продолжает прерванное занятие.

В это время из каретника выходит мой старший брат, гимназист Саша. Хитро улыбаясь, он подходит к Агафоновне и заискивающим тоном замечает:

— А я тебе, няничка, подсоблю.

Агафоновна досадливо отмахивается левой рукой.

— А, ну тебя! Помощник выискался! Ступай лучше подобру-поздорову!

Саше этого только и надобно. Сделав смиренное лицо, он отходит к конюшне и скрывается за дверью. Отсюда-то и начинаются его козни. Через две минуты непокорная корова Чернавка слышит зазывающий ее нежный голос:

— Тпрсе... тпрсе...

Чернавка делается внимательнее, вскидывает кверху голову, начинает махать хвостом и вообще всячески выражает свое нетерпение. Между тем ничего не подозревающая Агафоновна (она плохо слышит) продолжает

свое дело и недовольным голосом высказывает корове свое удивление... Внезапно в дверях конюшни показывается Саша с огромным ломтем белого хлеба. Чернавка издает оглушительный вопль и мгновенно срывается с места. Из-под няни выскальзывает ее скамейка. Из опрокинутого ведра текут во все стороны молочные реки. Агафоновна в ужасе.

Озорник Саша притаился на сеновале.

## ЗА РУССКИЙ РАЗГОВОР

В старом деревенском доме у нас проживала в гувернантках молодая девушка, дочь чиновника, Евдокия Петровна. Мы ее любили, несмотря на то, что она была очень взыскательна на уроках. Но не любили мы с Володи́й французского языка, на котором нас заставляли разговаривать как между собою, так и со взрослыми.

Ни я ни Володя не понимали, зачем от нас потребовалось знание французского языка; тем не менее требования эти к нам предъявлялись с большой строгостью и с наложением жестокой кары заслушание.

Тому из нас, кто, забывшись, произносил вместо иностранного русское слово, надевали на голову огромный конусообразный колпак из синей сахарной бумаги, с длинными разноцветными бумажными лентами.

Колпак этот изобрел наш дед по отцу, Александр Иванович, маленький седой, строгий человечек, с необычайно добродушными глазами и с пряжкой за «сорокалетнюю беспорочную службу».

Нужно сказать, что наказания эти практиковались над нами только во время проживания у нас Александра Ивановича; когда же он переехал в город, все ненавистные вещи были сожжены нами в кухонной печи.

Александр Иванович лично наблюдал за тем, чтобы наказания были производимы без послаблений. Он сам ставил виновных в угол и сам надевал им на голову колпак, а на шею — изобретенную им же огромную кар-



тонную медаль, на одной стороне которой была нарисована акварелью длинноухая ослиная голова, а на другой стояла надпись: «pour la langue russe» (за русский разговор).

Как живо помню я картину изготовления этих страшных вещей! Дед Александр Иванович, великий инквизитор, сидит на своем верстаке, окруженный топорами, клещами-плоскозубцами и другими инструментами. С удовольствием, которое так и брызжет из его выцветших глаз, режет он огромными ножницами разноцветную бумагу, приготовляя из нее длинные лоскутки для султана колпака.

Ножницы лязгают... А мы с замирающими сердцами стоим подле столярного станка и упрощаем Александра Ивановича, разумеется, по-французски:

— Дедушка, милый дедушка! Не делайте колпака!

Александр Иванович весело нам подмигивает и, с удвоенным азартом принимаясь за страшное дело, говорит с большим добродушием:

— Нельзя, молодчики! Евдокия Петровна велела, — ничего не поделаешь!

Мы знаем, что Александр Иванович только сваливает на Евдокию Петровну, и, чтобы не видеть ужасных предметов, уходим из кабинета деда. Мы направляемся к маме с жалобой; но и она бессильна перед строгим дедом с добродушными глазами...

Помню я и другую картину. В огромном синем колпаке и с безобразной медалью стою я, позорно наказанный, в углу столовой под осипшими часами, стучащими монотонно и скучно: «Тик-так! Тик-так!»

Дверь столовой растворяется, и на пороге показывается Антоныч, «обер-камердинер» Александра Ивановича, бритый старик, с красными глазами, шоколадная ливрея которого испускает какой-то древний, точно кипарисовый запах.

Антоныч прищуривает свои подслеповатые глаза, особенно тонко складывает сморщенные, бескровные губы, взмахивает руками, словно удивленный, и, присло-

нив одну руку ко лбу, говорит, почти везде, по своему обыкновению, вместо звука «а» ставя «о»:

— Позвольте узнать: из кокого- царства-государства приехал к нам зоморский король?.. А може, и королева?

Старик склоняется к моему лицу и, как бы только что признав меня, восклицает удивленно:

— Ба, ба, ба! Да это мой Павлинько! Поздравляю с таким именитым званием! Поздравляю!..

Задерживая дыхание, я отворачиваюсь от Антоныча и становлюсь в угол лицом. Еще одно слово, и я разрыдаюсь...

А теперь... теперь эти когда-то мучительные минуты представляются мне такими чудесными, такими милыми! Люблю я и деда с его страшными ножницами, и камердинера Антоныча с его ливреей, так пахнувшей кипарисом, люблю даже мучившую меня когда-то медаль...

И все это потому, что бежит драгоценное время. Мгновения те промелькнули, как вешние воды, и — не вернутся...

## ПЕТРОВСКИЙ ПОЛК

Мысль на вербовать из крестьянских ребятишек рекрутов принадлежала не нам, а двоюродному брату Грише. Как-то на каникулы он приехал в наш деревенский дом. Жестоко щеголяя перед нами кадетской формой, он, несмотря на то, что был еще в первом классе, держался уже настоящим офицером: старался говорить басом, носил обручальное кольцо и так щелкал каблуками, как будто бы вблизи стреляли из ружья...

Володя и я охотно показывали ему игрушки и рассказывали о своих делах; но Гриша все критиковал и с высоты своего величия делал небрежные замечания, что мы не умеем заполнять свой досуг. Он тут же предложил нам заняться обучением крестьянских мальчиков военному искусству.

Мы с радостью ухватились за его мысль, которая заинтересовала нас как новинка. В тот же вечер мы собрали перед собой своих верных спутников по лесам и полям и объявили им, что завтра начнется фронтовое учение.

Сначала наши рыбаки заробели и стали нерешительно переглядываться. Военное ремесло, — ведь это нечто опасное!.. Но, узнав, что за отличия по службе будут выдаваться медали, кресты и даже мармелад, пришли в восторг и изъявили полную готовность подвергнуться рекрутчине.

— Главное, нужно всем забрить лбы! — серьезно говорил Гриша.

Чуть ли не до глубокой ночи занимались мы в тот день изготовлением погон, эполетов, крестов и медалей. Картону и золотой бумаги было у нас пропасть; эполеты и погоны вышли великолепные. На каждом из них стояла буква «П», так как полк наш мы, после долгого совещания, назвали Петровским, в честь того села, в котором проживали.

Изготовление орденов и в особенности медалей оказалось сопряженным с большими трудностями. Ордена походили на кренделя, а медали Володя ухитрился вырезать так, что они больше напоминали лимоны. Тем не менее, благодаря блестящей бумаге и красным лентам (мы изрезали на орденские банты старый дедушкин носовой платок), знаки отличия выглядели великолепно.

Плохо спалось нам в ту ночь. Володя, произведенный мною в тот же вечер в генерал-фельдмаршалы, до позднего вечера делал маневры с оловянными солдатами, и вероятно, ночью спал еще хуже меня... А наутро, еще прежде моего пробуждения, он уже облачился в свой гусарский костюм из синего бархата, и на плечи прицепил генеральские эполеты.

Благодаря его нервности, я утром не успел как следует напиться чаю. На дворе уже галдело полчище новобранцев и вело себя с полным незнанием военной дисциплины.

Их очень заинтересовало прищипливание к плечам солдатских погон; но когда мы приступили к обязательной для военной службы забривке лбов, — ее мы, за неимением бритвы, производили ножницами, — среди рекрутов поднялся ропот. Дело это пришлось оставить, и только двое — мордвин Яков и сын солдатки Аким — изъявили полное согласие подчиниться воинскому артикулу, за что тут же они и были произведены указом Гриши в фельдфебели...

Началось фронтовое ученье, и мы заметили, что дали форму своим рекрутам слишком поспешно. Новобранцы обнаруживали крайнее непонимание команды. Когда Володя, еще сам не особенно твердо знавший фронтовое учение, командовал: «правое плечо вперед», солдаты не знали, что делать, и хлопали глазами... Володя командовал: «направо», — рота поворачивала налево, а когда он объяснял, что начинать маршировку следует обязательно с левой ноги, — новобранцы только и делали, что с любопытством рассматривали свои левые ноги.

Мы уже приходили в отчаяние и подумывали: не лишить ли недостойных знаков воинской чести, как на наше счастье из своих апартаментов вышел Иван Иванович Кочергин и, увидев наши тщетные усилия, взялся за дело обучения сам.

Он не объяснял солдатам, что надо непременно маршировать с левой ноги, а велел каждому из них запомнить, что у них вместо левой ноги — сено, а вместо правой — солома.

— Когда я скажу: «сено», идите левой ногой, а как крикну: «солома», — выступайте правой.

Я и Володя думали, что Иван Иванович смеется над нами и, приготовились было обидеться, но, к нашему изумлению, маршировка рекрутов пошла с успехом.

— Сено! солома! — во все горло рывкал Кочергин.

Его одинокий глаз наливался кровью, и он, подняв кверху руку, шествовал за новобранцами с таким видом, как будто бы хотел стереть в порошок каждого, кто забудет, где у него «сено» и где «солома».

Через час все воинство изрядно походило на отварных раков, зато уже почти безошибочно различало правило команды.

— Сено, солома! Сено, солома! — надрывался Иван Иванович, вращая своим единственным глазом.

И босоногая команда мерно отстукивала на песке коричневыми пятками:

— Раз, два! Три, четыре!

Через неделю начались правильные строевые занятия, и двое из новобранцев получили за усердие как знаки отличия, так и обещанный мармелад. Начались военные прогулки за село. Мы становились в поле лагерем и производили расследование местностей; было открыто несколько неведомых земель, неозначенные на карте речка Владимировка и остров под названием «Земля св. Григория». Была открыта в одном старом погребке богатая залежь сырых плодов, оказавшихся по дознанию репой и картофелем; были найдены в одном из лесов соломенная шляпа псаломщика и несколько пар изношенных лаптей, пожертвованных нами в наш Петровский музей. Рекогносцировки назначались каждые два дня и иные производились не без опасностей для войска. Особенно хорошо переправлялся наш полк через неглубокие воды. Так как существовало предположение, что войско состояло не из пехоты, а из конницы, то по прибытии к реке давался сигнал: «в галоп», и Петровский полк со всех ног бросался в воду. Разумеется, переправлялись мы на тот берег промокшими до того, что по возвращении домой нам задавались строгие выговоры, а с генерал-фельдмаршала (Володи) снимались штанишки и вывешивались на солнце.

Таким образом, в селе Петровском существовало в летние месяцы правильно организованное войско. От многих авторитетных лиц, каков, например, Иван Иванович Кочергин, оно нередко получало самое лестное одобрение. Однако генерал-фельдмаршалом тщательно скрывалось от всех одно неподлежащее огласке обстоятельство: как расположившийся на земляничном поле лаге-

рем Петровский полк дважды бежал от стада коров, сделавших нашествие в его лагерь, причем сам главнокомандующий во время отступления потерял свою шляпу, офицерские эполеты и старинный дедовский кинжал.

Светлые страницы полковой летописи я должен, однако, омрачить упоминанием о своих собственных, неблагоприятных по службе, поступках: в то время как Володя, в бытность свою генерал-фельдмаршалом, постоянно пребывал на высоте воинского достоинства, — я охотно награждал нижних чинов орденами и медалями за различные услуги хозяйственного характера (например, за доставку для соловьев муравьиных яиц) и давал — страшно вымолвить! — Георгия первой степени за десять раков к своему завтраку...

## СТАРЫЕ СОКРОВИЩА

Не говорил я еще об огромном чердаке нашего деревенского дома, куда мы лазили за добыванием самых редких и интересных вещей.

Представьте себе огромное полутемное помещение, в которое свет проходил лишь откуда-то сверху, в круглые окошечки, полные ос. Жуть всегда забирала нас, когда, поднявшись по скрипящей лестнице, влезали мы в крошечную дверь чердака, за которой сейчас же начинался сумрак. Пол там был земляной; множество голубей ютилось на полу и по стропилам крыши; не мало жило там и противных летучих мышей, один вид которых повергал нас в отчаянье... Но желание добычи почти всегда брало верх над всякими страхами, и в сопровождении старого повара Фрола мы решались проникать в недра знаменитого чердака.

«Знаменитым» называл чердак наш повар Фрол, тот Фрол, разговоры которого всегда касались только домашних, русалок и другой нечисти, который рассказывал, что в день своих именин видел в лицо самого водяного.

Склонный ко всему сверхъестественному, он всегда с охотой забирался с нами на чердак.

Тесно прижавшись к его костлявым рукам, мы шли по земляному полу, а глаза робко бегали по сторонам, точно ожидая найти в углу одного из нечистых, которыми был так начинен наш ветхий повар. А Фрол что-нибудь всегда говорил, и древний голос его гудел как старая виолончель.

Прежде всего на чердаке мы подходили к громадному стеклянному шкапу, который был переполнен медными касками, аршинными киверами и трехаршинными саблями. Когда мы спрашивали Фрола, зачем военные носили раньше такие длинные сабли, он всегда отвечал: — «Для того, чтобы доставать супостатов издали», — и рассказывал при этом что-нибудь такое страшное, что мы переставали дышать.

Много было на чердаке и портретов, писанных масляными красками; они всегда изображали бритых сморщенных генералов с красными воротниками мундиров и с чрезвычайно воинственным выражением глаз. Руки генералов всегда бывали заложены за борты сюртуков; только у одного, самого старого, правая рука была вытянута вперед, и указательный перст ее упирался в восходящее солнце.

К нашему стыду, должен признаться, что мы не пощадили этих портретов; нередко по вечерам мы с Володи тайком выбирались с ними в березовый лесок и там пускали в генералов камешки из своих самострелов; нашими жертвами оказались и великолепные бабушки, гордые красавицы в желтых шالях; в те далекие времена мы не признавали родства и чинов и не ценили старины и искусства...

Но кроме описанных, мы находили на чердаке массу таких предметов, назначения которых не мог объяснить нам даже наш всезнающий Фрол.

Были, например, вазы, похожие на кофейники, и кофейники, похожие на вазы; были самовары, смахивающие на лампы, были и лампы, похожие на самовары;

были вещи — не то бритвенные приборы, не то салатники; были щипцы не то для завивки волос, не то для снятия нагара с восковых свечей. Я не могу даже приблизительно описать тех необыкновенных, совершенно уже непонятных нам изделий, которые были развешены под самой крышей и в которых мирно гнездились теперь голуби и осы; нас интересовали тогда главным образом разные сабли и мелочь, — то, что можно было унести вниз; и мы часто стаскивали в свои комнаты кучи самого разнообразного хлама, теряли его, приносили новый, — и все же чердак казался по-прежнему переполненным.

Помнится, раз мы забрались туда для поисков клада. К этому подговорил нас древний Фрол, любитель необычайного. Забрались мы на чердак в сумрачный летний день, и тучи низко плавали над домом, — казалось, вот-вот заденут за крышу; и старик был тогда весь сумрачный. Посадивши нас на опрокинутую ванну, он сделал вокруг себя черту, посыпал на землю какого-то порошку и долго-долго бормотал какие-то заклинания... Но клад не являлся. А клад, по словам Фрола, был великий; зарыл его дед наш в день объявления воли, и многие пытались найти золотую кубышку, — только злой дух отводил всем глаза.

Тщетно старик приседал, поплевывал в сторону, шевелил губами, размахивал каким-то корешком и кланялся: все оставалось без изменения, и, разочарованные, мы поплелись тогда с чердака восвояси.

## ЛЕВ ГРИГОРЬЕВИЧ БАЛЫЧКОВ

Лев Григорьевич сидит на крылечке нашего старого деревенского дома в своем древнем пиджаке странного брусничного цвета, при цепочке и в голубых панталонах. В сморщенных руках его — ясенева балалайка, на которой играет он черным как гвоздь указательным пальцем.



«Проторила я дорожку чириз яр,

Ч-чириз гору, мой сердечный, на базар», —

поет Лев Григорьевич.

Володя, Саша и я сидим подле него в своих чесучовых костюмчиках. Все нам смешно: по зеленому бесконечному двору бегают телята; старая нянька Агафоновна кормит кур и грозит согнутым от старости пальцем рыжему петуху. На террасе тетя Анфиса, полная, как не знаю что, с ожесточением трясет в тазу малиновое варенье и делает от гнева такие гримасы, что не засмеялся бы разве только слепой...

Но смешнее всего этот милый, славный Лев Григорьевич в его диковинных голубых паталонах, с высохшим, тщательно выбритым лицом, на котором торчит плутовски вздернутый нос. Седые, чисто охотничьи усы свисают к шее. И песню свою поет он забавно. Слова «через гору» он забирает такой высокой трелью, точно жаворонок, а «на базар» выводит таким неистовым басом, словно ревет фабричная труба.

Никто из нас троих не знает, как и когда завелся у нас в доме Лев Григорьевич Балычков. Дядя Алексей, который всегда так смешно рассказывает, уверял нас, что Лев Григорьевич, как одна древняя богиня, явился из пены морской. Он же рассказывал и все что угодно из жизни Льва Григорьевича. Но ни один человек не ведал в точности, откуда он взялся, и кто его родители. Всем казалось, что как только отстроился наш старый помещичий дом, в нем немедленно завелся и Лев Григорьевич и занял себе угловую зеленую комнату с венецианским окном.

Комната эта была для нас чрезвычайно интересна: вся она была загромождена чучелами птиц и зверей, волшебными фонарями, удочками, трапециями. Пестрые диковинные костюмы и парики висели в шкапу. Рассказывали, что Лев Григорьевич когда-то играл на сцене, и рассказы эти были тоже забавны. Особенно интересен был первый выход Льва Григорьевича.

Рассказывали так, что для дебюта ему дали роль лесного сторожа. Одетый по форме, Лев Григорьевич долго ходил в потемках по сцене, стуча в колотушку. Затем, по условиям роли, ему следовало лечь на завалинке сторожки и заснуть. Лев Григорьевич взгромоздился на завалинку, подложил под голову армяк, долго говорил, что полагается, засыпающим голосом и наконец, сморенный ходьбою, и в самом деле заснул. Публика была поражена мастерским исполнением роли. Но надо было сторожу просыпаться. Суфлер долго ждал, наконец окрикнул негромко:

— Лев Григорьевич!

Лев Григорьевич спал.

— Лев Григорьевич! — повторил суфлер громче.

Сторож был недвижим. В глубине сцены метнулась встревоженная фигура режиссера.

— Лев Григорьевич! Черт! — вдруг выкрикнул режиссер и, потеряв самообладание, бросился с кулаками на заснувшего сторожа. Публика разразилась оглушительным хохотом... Занавес опустили под рыдания режиссера.

— Bravo! — долго кричала публика в тот вечер. Каждое появление Льва Григорьевича встречалось бурей аплодисментов. Таков был первый выход Балычкова в городском театре.

Особенно смешно представлял эту сцену нам дядя Алексей. Он укладывался на диване, говорил Балычковские монологи, потом храпел, затем изображал в лицах публику и нервного режиссера... Тут же сидевший Лев Григорьевич, разумеется, смеялся громче всех.

— Дурак я вам, что ли, Иван Иванович! — говорил он, не без гордости осматриваясь по сторонам.

Рассказывали также, что молодость Льва Григорьевича в свое время протекала и в цирке. Об этом свидетельствовали и оставшиеся от прошлого трапеции, и то искусство, с которым маленький тщедушный Лев Григорьевич лазил по деревьям и крышам.

Вообще вся жизнь Льва Григорьевича была рядом скитаний. Он жил в бесчисленном множестве сел и городов Российской империи, бывал в Азии и в Крыму, ездил с каким-то генералом на «погибельный Кавказ»; служил в казначействе и контрольной палате, был управляющим в имении губернатора и лечил от зубной боли. Только к старости улеглись его искания, и Лев Григорьевич обосновался у нас.

Со времени появления его в нашем доме занятия его сделались несложны: он играл на гитаре и балалайке; запаивал своим паяльником проржавевшие хозяйственные жестянки и рассказывал случаи из охотничьей жизни.

Милый Лев Григорьевич! В то далекое время я не понимал, что в сущности он был очень несчастным человеком и играл, может быть, жалкую роль в нашем доме. Видя его постоянно улыбавшимся, рассказывающим веселые анекдоты, я думал, что так же весела и вся его жизнь. Как и куда девался Лев Григорьевич, когда мы выехали из деревни, я не знаю. Не знает никто о нем и из моих родственников.

Был старый помещичий дом, — был в доме и Лев Григорьевич Балычков; дом рассыпался, дом развалился — и, как продукт старого помещичьего дома, рассыпался и исчез и Лев Григорьевич Балычков.

Домашние мои еще повторяют разные анекдоты Балыčkова и его любимую фразу: «Дурак я тебе, Иван Иванович», — но уж совсем неизвестно, где обретається в настоящее время автор бесчисленных анекдотов... Мы не знаем даже, жив он или давно уж покоится в земле.

В памяти у меня еще только одна сцена из жизни Балыčkова.

Лев Григорьевич сидит за обеденным столом, кушает варенец и говорит моей матери с умиленным лицом:

— О, это прэлэстная штука!

Больше я о нем ничего не помню.

Каждый год, 22 июня, мы всем семейством, то есть мама, Саша, Володя и я, отправлялись в город на «юбилей» бабушки Аглаи. Это была та самая бабушка, которая, по кончине своей любимой лошади «Ахиллеса», с горя перебралась в город и стала жить в нем безвыездно, в своем старом особнячке на Дворянской улице. «Юбилеем» назывался день ее рождения.

Переезда в город мы ожидали как праздника. Мы очень, очень любили наше милое село с голубой дымящейся по утрам речкой, с прудом, полным окуней, кувшинок и осоки, с седыми осокорями, квартирами галок и грачей; но ехать 120 верст в тарантасе в июльскую жару, останавливаться каждые десять-пятнадцать верст в мужицких избах с диковинными картинами и скотными дворами, где блеяли и мычали тупоносые хвостатые друзья, — это было тоже большое удовольствие!

Еще за три дня до отъезда мы начинали осаждать просьбами нашего кучера Сему Колченого. Вы помните, какой ленивый был этот Сема и как он любил ворчать?..

— Ну, вы-дум-ли... — скрипит он, бывало, по своему обыкновению глотая излишние буквы. — Пришли, этт, споз-ранок. Эка, выдум-ли: за трои дни!

— Да нет, ты осмотри колеса, — деловито замечает Володя. — Вдруг сломается колесо, ну, как ты поедешь?..

— «Сломается»! — презрительно повторяет Сема, прищуривая левый глаз. — Точно не езживал я на трех колесах. И на двоих езживал, эка невидаль, кто умеет!

И в доказательство тут же приводил свой любимый анекдот, как он ездил с дедушкой-генералом к зубному доктору, и как у дедушки, после того как сломалось колесо, перестали болеть зубы.

— Бумажкой пожаловали! — хвастливо добавлял Сема в заключение; но мы не оставляли его до тех пор, пока он при нас же не подмазывал колес.

Надо ли говорить, что мы и не ложились спать накануне выезда? То есть, собственно, спать мы ложились (иначе нас, пожалуй, и в город не взяли бы), но глаза наши не смыкались в ту ночь ни на минуту.

Да и как было заснуть, когда надо было как можно лучше отточить за ночь дедовскую саблю на случай нападения в дороге разбойников, — да и точить надо было умеючи: не производя шума, — во избежание вмешательства взрослых. Ведь проехать по степи 120 верст — дело не шуточное, и если все наши поездки по постоянным дворам сходили благополучно, то не потому ли, что у нас устанавливались на всю ночь очередные дежурства с саблей?..

Мы отлично знали, как опасно ночевать на постоянных дворах, — знали по картинам, которые были наклеены на стенах тех же дворов. Как же было заснуть при подобных обстоятельствах? Не только не заснуть, но даже ходить было необходимо с опаской, и у каждого из нас на цепочке висело по сигнальному свистку.

Я опускаю в своем рассказе все подробности, которые предшествовали нашему выезду. Миную и соблазнительное описание тех груд пирожков, которые выпекал наш повар на дорогу (особенно хороши были пирожки на меду и с маком!), обойду молчанием и горькие сцены расставания с Трезором, Валетом и Нельмой. Вне сомнения, что в своей любви к нам они готовы были пробежать не 120, а 120.000 верст, если бы их предусмотрительно не запирали в сарай.

Я упомяну лишь о том, как беззубый Сема сказал свое «п-у-у» (вместо «тпру»), и мы остановились за околицей, чтобы «в последний раз» взглянуть на родное село.

Звонит колокольчик, лошади в такт ему прядают ушами; по бокам тарантаса вьется милая черная пыль, так искусно преображающая нас в индийцев Густава Эмара; с трахтеньем несутся над экипажем нежные, непугливые горлинки, а на широкой спине Семы бесплатно переезжает вместе с нами целая коллекция самых разнообразных мух...

Дорога бежит между золотыми хлебными полями, по равнинам, пригоркам и лесам. Ласково и радостно синее небо; ни тучи, ни облачка; равномерно встряхивается тарантас; жжет неумолимое прекрасное солнце, — и столько нового, необычайного, милого открывается взору с каждой минутой!..

В ложбине у дороги стоит покосившийся крест. Молва идет о нем, что здесь убили запоздавшего путника. На душе становится на мгновение грустно: что чувствует и что переживает в тиши ночи эта бедная одинокая душа? Но сейчас не ночь; сейчас все охватывает бесконечное солнце и нежно снимает с души налетающую грусть... Вот кудрявый вязок, от которого мы меряем полдороги до хутора Заветного; а вот и он, этот хуторок, с покосившимися хохлацкими избами, с красной крышей господского дома и Серебряным бором, полным самых диковинных грибов.

Засыпая под солнцем, отвисающими губами бормочет Сема свою излюбленную песню, как

Во серебряном бору, во златых песочках

Он:

«От девы молодой ожидал следочков»...

— Осторожнее, не упадите, дети, — говорит нам мама. — Вместо того, чтобы смотреть по сторонам, ты, Володя, повтори лучше свое стихотворение в честь бабушки.

Володя не перечит. Он охотно соглашается продекларировать стихотворение в честь бабушки, хотя в нем говорится только о шоколадном прянике, и нам, двоим, более взрослым, не вполне ясно, какая собственно бабушке от этого «честь».

К трем часам мы подъезжаем к первой нашей остановке, к селу Оторвановке, и, дразня тросточками лохматых собак, мчимся по неровной улице с ужасающим трезвоном. Это — уже слабость Семы. Обычно равнодушный ко всему земному (кроме пирогов), он весь преобразается, когда въезжает в деревню: сутулая спина его

выпрямляется, в руках появляется кнут, и пронзительно светлеют его вечно мутные «оловянные» глаза.

— Эй, вы, б-боговы! — трескучим голосом выкрикивает он, взмахивая кнутом, и тройка мчится по деревне сломя голову.

Кто бы его ни просил, какова ни была бы дорога, — Сема неумолим. — «Эй, вы, б-боговы!..» — Лошади летят по мосту так, что скрипят и топорщатся бревна; по ко-согору — так, что экипаж накреняет, словно судно на море; но эффект всегда поразителен: вся улица оказывается переполненной нечесаными бабами и испуганными ребятишками. Все это глазеет на нас, наставив руки щитком над глазами, а более всего — на лихого кучера Сему, и сколько бы ни было на душе его загубленных кур и индеек, — Сема все равно в неопишемом восторге...

Так мелькают перед глазами одна станция за другой; солнце клонится к западу, веет прохладой, сгущаются тени; порядком разморила нас езда, и хорошо бы заснуть теперь на ночевке, но сознаться в этом желании — преступная слабость: разве не на нас и не на дедовской сабле висит все благополучие нашей семьи?

К девяти часам вечера показывается, наконец, Ковровое, — место нашего ночлега. Маленький Володя взволнованно взглядывает на меня. Сказать по секрету, — он немножко вздремнул перед приездом, но он сделал это незаметно и за спиной мамы.

Теперь он выглядит совсем бодро и даже прочищает к боевой готовности своей свисток. Саша, как самый старший, уже одел для предстоящего дежурства саблю.

Скрипят старые ворота; сердце обливается холодком. Так вот он, этот таинственный, на вид столь гостеприимный ночлег!.. Подбегает в громадных валенках хозяин и низко кланяется... Нечего хитрить, — знаем мы ваше гостеприимство! Как только погасят огни, сейчас же — в подвал, и там — лязг... лязг... — зазвенят на брусках острые ножи!..

Хозяин услужливо подбегает к Саше и хочет помочь ему выпутаться из длинного сабельного шнура.

— Ну, нет, — значительно говорит Саша, отстраняясь и еще более значительно подмигивая мне глазом. — Нет... я сам...

Мы смотрим: побледневший Володя уже приложился губами к спасительному свистку.

— Да будет тебе, Вовочка, — говорит мама. — И так свистал всю дорогу. Ступайте лучше, дети, чай пить... Здравствуйте, Корнеич.

Мы идем. «Какая, право, доверчивая мама! — думаем мы. — Посмотрела бы, что нарисовано здесь на стенах!»

За чаем Володя уже совсем спит и вместо сахара насыпает себе в стакан соли. Мама между тем раскладывает на постели три подушки. Потом ложится сама и понемногу начинает дремать...

— Я пойду, — шепчет мне Саша, выпрямляясь. Лицо его несколько бледно. — Если что-либо случится, я даю свисток, а ты прямо с мешочком и беги!..

Здесь надо объяснить, что такое «с мешочком». Это обыкновенный мешочек, сшитый нами из носового платка, но наполнен он самым лучшим, тончайшим просеянным песком, имеющим не малое назначение: засорить глаза разбойнику в момент его нападения.

— Да, я не сомкну глаз, — говорю я Саше, и он уходит.

Но неизвестно, была ли тому причиной дурная дорога или пирожки, или то и другое вместе, только я заснул моментально, как только добрался до постели. Спал я, конечно, беспокойно; и, помню, все время слышался мне тревожный свист или звон...

Когда я, среди ночи, проснулся, в окно глядела круглая зеленоватая луна. Действительно, сон был в руку: со двора раздался звон колокольчиков, и не успел я схватиться за мешочек, как в сенях послышался топот сапог и раскатистый голос, спрашивающий:

— Так они там спят?

Сердце во мне замерло. — «Мама!» — хотел, было,



крикнуть я, но как раз в это время услышал шепот Корнеича:

— Спят, спят, с детками, ваше превосходительство!

Очевидно, это были не разбойники. Корнеич не стал бы величать их «превосходительством». К тому же сапоги потопали в прихожей и удалились. Однако сон мой разлетелся как дым, и я быстро вышел во двор.

Луна стояла уже высоко на небе и была теперь не зеленоватая, а белая; во дворе рассеянно звякали бубенчики отводимых в сарай лошадей, а рядом с нашим тарантасом стоял, задрав кверху оглобли, еще другой такой же экипаж. «Что бы это значило?» — терялся я в догадках. Очевидно, на постоянный двор приехал еще кто-то; но в таком случае где же они, эти ночные гости? Ведь комната для приезжих, я знал, была только одна.

— Саша, Саша, — осторожно позвал я. Никто не откликался. Саши не было.

Я подошел было к вновь прибывшему тарантасу, но из него раздался такой храп, что, приняв его за рыкание льва, я отлетел шариком в сторону. «В самом деле, почему знать, — может быть, это приехал директор цирка или укротитель зверей, о которых я читал у Майн-Рида, и при нем в экипаже его дикие львы? Гораздо спокойнее было подойти к нашему тарантасу, тем более что там, вероятно, и был Саша с его отточенной саблей.

— Саша, ты здесь? — шепнул я, взлезая на подножку тарантаса. — Ну, что, не приходили разбойники?

Вместо ответа я услышал плач. И странно: ослышался ли я, — но голос как будто принадлежал не Саше... Но кому же в таком случае он мог принадлежать? Без сомнения, я ослышался. Я осторожно взобрался на широкие козла.

— Саша, зачем ты плачешь? — спросил я.

Лежавший зашевелился, всхлипнул сильнее, поднял голову, и... — представьте мой испуг и мое изумление, — я увидел маленькую косичку, черные круглые испуганные глаза, соломенную шляпку с розовой ленточкой, изогнутые брови.

— Кто здесь? — спросил меня совсем чужой, но прекрасный голос.

Очевидно, передо мной находилось совершенно постороннее лицо; это была девочка лет восьми-девяти... Но как могла она попасть сюда? От изумления и страха у меня отнялся язык.

— Извините, — проговорил я наконец. — Извините, но это наш тарантас.

— Ах, я ничего не знаю! — быстро ответила девочка и, подернув худенькими плечиками, снова заплакала. — Папа оставил меня здесь одну... Он не нашел в доме комнаты... Он сказал... все занято... и... спит там, в экипаже... А мне страшно!

Вся давняя дворянская, рыцарская гордость вспыхнула во мне при этом восклицании. Вне сомнения, передо мной была брошенная на произвол судьбы девушка, вроде тех, о которых я так много читал у Густава Эмара и которую обязан был всеми силами защищать. Не было сомнения, что отец ее, зажиточный фермер Техаса, обладающий стадами мустангов, должен был бежать из прерий, захватив дочь. Весьма возможно, что его дом теперь разрушен злым Монтигомо, предводителем краснокожих, и он, с томагавком в руках, рыскает по развалинам, ища их скальпы.

— Я не покину вас до утра! — воскликнул я. — Я понимаю, что заставило вас бежать из прерий; но пусть покажется сюда «Огненный Глаз»!..

— Мы едем из Саратовской губернии, — тихо ответила девочка. — Мы не нашли в доме места, и папа велел мне спать здесь...

Ясно, она почувствовала во мне защитника и улыбнулась, причем на черных ресницах ее сверкнули слезинки. — А вы тоже едете в город? Кто вы? И вам не холодно?

Она задала мне столько вопросов, что я не знал, на который отвечать.

— У нас есть в городе белый дом и лошади, — между прочим сообщила она. — У меня есть своя лошадь,

маленький-маленький пони, и его зовут «Принц». А как зовут ваших лошадей?

Я отвечал, а сам поглядывал на нее. Боже мой, какая это была красавица!.. Уже светало; убегала недолгая летняя ночь, и теперь, в брезжущих тенях утра, я видел, что волосы у нее были не черные, а пепельные, темные глаза и маленький пунцовый рот, похожий на лепестки роз.

Мне казалось, что и она глядела на меня признательным взором. Как-никак, а все-таки я первый пришел к ней с желанием защитить... Она не могла этого не чувствовать. Я любовался ею, и в то же время сердце мое щемила грусть при мысли, что мне не пришлось спасти ее от «Огненного Глаза» и не придется спасти в будущем... С какою бы радостью я бросился за эту прекрасную девушку под его томагавк!..

— А знаете, когда вы приедете в город, приходите к нам непременно, — говорила мне моя новая знакомая. — Я скажу папе, когда он проснется; у нас даются по праздникам балы, и все говорят про меня, что я бываю царицей бала...

Я хотел что-то ответить ей, но вдруг почувствовал, что я... заснул. Это было чудовищно, неприлично, невероятно, безобразно, но я чувствовал, как опускались мои отяжелевшие веки, как бессильно падали руки и по всему телу разливался сладкий холодок сна... Я хотел что-то сказать, хотел улыбнуться, извиниться, двинуться, но оцепенение сна уже захватывало меня, и я чувствовал, будто я разделяюсь, раздваиваюсь, тяжелею и в то же время, взлетывая, уношусь куда-то, и все уходит в небытие сна...

Я проснулся когда солнце стояло уже над головами; позванивали колокольчики запрягаемых лошадей; брели переваливаясь к колодцу утки, кудахтали где-то курица, а в тарантасе под пледом спала худенькая «царица бала», у которой был чудесный пони Принц.

— Эге! Да это кто же такой?!. — услышал я над собой густой, раскатистый голос.

Вздвогнув, я открыл сначала один, потом оба глаза. Надо мною склонялось бравое лицо военного с черными нафабранными усами.

— Я... хотел... я думал... «Огненный Глаз», враг бледнолицых... — залепетал я в свое оправдание, но вдруг понял, что сказал что-то, не идущее ни к солнцу, ни к ясному разгорающемуся дню, и, весь вспыхнув, выскочил из экипажа и стремглав бросился в раскрытые ворота.

— Куда же ты, Павлик?.. Павлик! — кричала вслед мне изумившаяся мать.

Но я бежал по улицам, ничего не соображая, и рядом со мной с лаем неслись ошарашенные шавки, а где-то вдали слабо отзывался голос Саши:

— Павлик, остановись!..

Мы вернулись на постоянный двор только тогда, когда за нами приковылял недовольный Сема и сказал, что «маменька сердятся просто ужаси», а что «генерал укадили по делам».

Я вздохнул от всего сердца. Мне казалось, что я сгорю от стыда, если увижу улыбающееся лицо военного и, в особенности насмешливую улыбку моей новой знакомой. Что она обо мне подумает? Что она подумала, когда узнала, что я самым нелепым и невероятным образом заснул в том же тарантасе во время ее приглашения на бал?!

И можете себе представить, кто была эта барышня, с которой я встретился так случайно и необычайно? Это была дочь местного губернатора N.

Впоследствии, немного подросши, я прочел про «Капитанскую дочку», а вот про «губернаторскую дочку», извините, еще не читал.

Где ты, милая черноглазая девочка? Не надо ли мне еще раз спасти тебя от жестокого Монтигомо; врага бледнолицых? Или ты замужем, и твой муж — «зажиточный фермер Техаса»?

Отзовись мне, я жду.



## ВОСЕМЬ ЛЕТ

### I

*В пансионе. — Первые впечатления. — Воспитатель, дядька, товарищи. — Вечер и ночь*

Помнится, часы пробили пять. Осенний сумрак хмурился за окнами, в стекла бил дождь, хлестались продрогшие ветви деревьев.

— Пора идти! — сказал я матери неестественно спокойным голосом и поднялся со стула.

Поднялись и мать и оба брата. Старший, двенадцатилетний Александр, как-то мгновенно посмотрел на меня с недоверчивым удивлением и отвернулся. По глазам его я понял, что он видит, как я храбрюсь, и ему меня жалко. Маленький, девятилетний Володя, просто-напросто заплакал. Ему было жаль расставаться со мной, соучастником его игр, было жалко отпускать меня в чужой пансион.

Уходить мне пришлось одному. Володя обучался еще дома, а старший хотя уже и учился в гимназии, но был приходящим. Меня же оказалось возможным поместить

на казенный счет в пансион, и, по обстоятельствам, пришлось этим воспользоваться. Помню, мать тихо склонилась надо мной и, пряча лицо, торопливо перекрестила. Громко вздохнул стоявший в темном углу старый повар Александр, бывший наш крепостной и оставшийся у нас по объявлении воли.

Почему-то больше всего на меня подействовал вздох этого Александра. В горле защекотало, зачесались глаза, и, чтобы скрыть волнение, я крикнул преувеличенно-развязно и громко:

— Так вот я и пойду!

Брат Александр улыбнулся, не то удивляясь мне и не веря, не то готовый расплакаться и сам.

— Ну, пойдем, — обратился я к повару. — Надо спешить.

Александр повернулся к двери. Бумажный сверток с сладкими пирожками выскользнул из его рук, варенье растеклось по полу... Я перешагнул через пирожки и вышел в прихожую.

— Прощай, Павлик! — крикнула мне мать, когда пирожное с грехом пополам опять увязали.

— Прощай, Павлик! — повторил старший Александр.

— Прост-тай... Павлик! — крикнул и Володя.

Я быстро шел по улице; в некотором отдалении от меня, все так же вздыхая, шел с пирожками в руках древний повар Александр. Когда я в полумраке оглядывался на него, мне виделась только пушистая веерообразная белая борода да чудовищная шапка, нахлобученная на уши. Так как было темновато, то я не сдержался и всплакнул. Тем более, что было это незаметно: моросил дождь.

Идти было недалеко. Сначала мы шли по переулкам и были одни, потом выбрались на главную улицу, где находился пансион, и затерялись между пешеходами.

Чтобы меня не толкнули, Александр пошел рядом со мной.

Он долго молчал, потом сказал угрюмо и неохотно:

— А маменька теперь наверное плачутся...

Я вздрогнул и чуть не заревел на всю улицу.

— Какой ты странный, Александр, — сказал я дрожащим голосом, силясь не выдать себя. — С чего же ей плакать? Не на все время я ушел... а вот будет воскресенье, приду к вам в отпуск.

— Так-то так, — согласился Александр. — Только...

Он хотел что-то прибавить, но мы уже подошли к пансиону.

Голос его оборвался, и он безнадежно махнул рукой.

Робко дотронулся я до дверной скобы, с усилием раскрыл дверь, и сейчас же с визгливым грохотом она захлопнулась. Еле переставляя ноги, поднимался я по скользким плитам каменной лестницы.

У дверей на табурете сидел черноволосый швейцар. Он уже видел меня, когда я приходил сюда вместе с матерью.

— Ваша клетка вот здесь, — сказал он мне, введя в прихожую, увешанную гимназическими пальто.

Помню, меня поразило тогда слово «клетка». Оказалось, клетка была у каждого пансионера, и находилась в ней шапка, а в осень и зиму — еще серый башлык.

— Для пальто у вас вот место, а для фуражки — вот, — указывал мне швейцар.

И над крючком для пальто и над клеткой для фуражки я увидел приклеенные бумажки, на которых была написана моя фамилия. Раздевшись, я вышел опять в коридор и оглянулся. Сердце сжалось в комочек. В углу, у окна, с пирожками в руках одиноко и сконфуженно стоял повар Александр. В нем было единственное, что казалось своим; все остальное: высокие лестницы, желтые стены, громадные окна, воспитательские зонтики и пальто, — все казалось страшным и чужим.

— Ты что, Александр? — Я подошел к нему.

Вместо ответа он протянул мне серый пакет.

— Ведь у вас есть свой сундучок! — сказал мне швейцар. — Туда и заprite. Пойдемте, я покажу.

— Ну, прощай, — тихо шепнул я Александру и пошел. Тот не двинулся.

Швейцар ввел меня в свою комнату, где подле его кровати у стены была целая гора сундуков, сундучков и сундучочков. На больших стояли средние, на средних — маленькие, на тех — самые крохотные... и около замков однообразно белели бумажки с надписями: «Иванов 2-й, Пищалкин, Попов, Голенкин 1-й, Сидорчук».

Отыскав свой сундучок, в котором лежали карандаши, конверты и ящик с красками, я быстро сунул туда пирожки и запер шкатулку. В комнате швейцара было темно и жутко.

— Теперь явитесь к воспитателю, — сказал мне швейцар. — Сначала идите прямо, налево — вторая комната.

Еле передвигая ноги, побрел я по бесконечно длинному коридору, освещенному лампами, привешенными к потолку. Огромные белые абажуры казались над ними зонтиками; кое-где лампы чадили, пахло керосином. По дороге попало мне несколько гимназистов, шедших парами; одни смеялись и не взглянули на меня; другие, поменьше, осматривали с любопытством и шептались:

— Новенький! Новенький!

Бесконечно жалким и маленьким казался я себе тогда, сам бывший ростом с аршин<sup>1</sup>, одетый в длинную казенную блузу. Стены были высоки и давили; разделенные пополам — снизу желтые, сверху белые, — они навели на душу нестерпимое уныние.

Отсчитав вторую налево комнату, я вошел в нее и сначала в ней никого не заметил. Были в ней только: скамья, два стула, стол и какие-то растения у окна. Потом у самой двери, за печью, заметил я еще стол. За ним сидел худощавый человек с желтым лицом, в вицмундире с блестящими пуговицами. Я поклонился как умел и подал воспитателю «отпускной билет». Искоса он поглядел на меня и сказал несердито:

— Новенький, а опаздываешь. Это нехорошо.

Он встал, подошел к двери и крикнул:

— Лаврентий!

---

<sup>1</sup> Аршин — старинная мера длины, менее метра.



Высокий, тучный, пожилой и бритый человек с белой колючей щетиной на подбородке появился в дверях. Нос у него был толстый, малиновый и похожий на сливу; глаза и брови — блестящие и черные. На конце носа сверкали стальные очки.

— Вот, Лаврентий! — воспитатель кивнул на меня головой. — Новичок, из приготовительного. Укажите ему все, да завтра остригите.

Он наклонился к столу и начал что-то писать.

— Ну, пойдем, — грубовато-добродушно сказал мне дядька. — Сейчас покажу парту, потом кровать... все по порядку. Тебя как звать-то? Павел? Ну, Павел так Павел. Павел царством правил. Не будешь шалить, все будет хорошо. Будут бить — спуску не давай. А завтра я тебя — в ножницы. И обкорнаем. Все по порядку.

Почему-то меня больше всего напугало выражение «в ножницы». Я помнил из рассказов дяди-полковника, как брали на Балканах «в штыки», и угроза «в ножницы» меня ошеломила.

Под влиянием ее я даже не обратил внимания на предупреждение дядьки, что будут бить.

— Ну вот и твое место, — проговорил солдат, введя меня в «занимательную» комнату, где в два ряда тянулись ученические парты. Парты эти были составлены в кучки по нескольку: по четыре, по шести... Каждый класс имел свой собственный уголок. — Твой сосед будет Кучурин, — объяснял мне дядька. — Кучурин, поди сюда.

К нам подошел маленький вихрастый гимназистик, за ним побежало еще несколько. Все уставились на меня.

— Ну, ну, приговяшки! — прикрикнул на них дядька. — Вот вам еще емназист. Кучурин, ты не смей драться... Вон это место кучуринское, — он указал на половину парты, — а это — твое. Сюда ты и складывай все, что дадут: книги какие, тетрадки, карандаши. Видишь, как у Кучурина.

Он приоткрыл верхнюю доску парты, и я увидел под ней маленькую комнатку: в уголке была привешена на

гвоздике крохотная иконка; в другом углу были сло-  
жены книжки; ручки и карандаши были аккуратно  
развешаны по стенке парты на гвоздиках и обломках  
перьев, вбитых рядами.

— Ах ты, египтянин! — крикнул вдруг дядька на  
Кучурина и корявыми мозолистыми пальцами схватил  
видневшуюся из-под тетрадки резинку. Резинка эта была  
привязана на деревянную рогульку и предназначалась  
для стрельбы скатанными бумажками. — А к воспита-  
телю хочешь? — Лицо солдата сморщилось от негодова-  
ния, брови сползли на глаза. — Стань в угол, ошмарин  
этакий<sup>1</sup>, стань к столу!

Кучурин медленно поплелся к воспитательскому сто-  
лу, и длинные, несоразмерно широкие брюки его мор-  
щились на его тонких ногах и ерзали по полу. Другие  
малыши поспешно разбежались.

— Ну, вот и все! — объявил дядька. — Теперь сиди  
здесь... вообще делай что хочешь... А уже я тебе койку  
твою покажу, будешь спать...

Он ушел. Я робко присел на свою парту, открыл от-  
веденный мне еще пустой ящик, опять захлопнул и на-  
чал смотреть перед собой. Мысль, что в доме сейчас теп-  
ло и уютно, что теперь там наверное пьют чай, тоскою  
сдавила мне сердце... Невольно глаза стали заволаки-  
ваться туманом, появилось неодолимое желание всплак-  
нуть... Как сквозь дым, видел я, что кто-то показывает  
мне из угла «носы» и делает гримасы. С трудом разо-  
брал я, что делает это Кучурин. По-видимому, он считал  
меня причиной своей беды и уже чувствовал ко мне не-  
которую неприязнь... Чтобы не сердить Кучурина, я от-  
вел от него глаза и начал рассматривать комнату. Невда-  
леке от нас, подле шкапов с книгами, стоял воспитатель-  
ский стол, закапанный чернилами, с дырявым сукном,  
тут же, ближе к стене, огромная квадратная черная боч-

---

<sup>1</sup> Ошмарин этакий. От слова «ошма́ра» — род холодного ору-  
жия. Здесь в переносном смысле. Ошмарин этакий — значит шуст-  
рый, колючий.

ка. Мне сказали потом, что это сорница для ненужной бумаги. Было их, таких сорниц, еще штуки две, и в каждую можно было уместить по пяти приготавлишек. Пока я засматривал «занимательную» комнату, ко мне раза два подбегал поставленный в угол Кучурин и, показавши язык, опять становился на свое место. Бегал он как-то особенно, раскатываясь по полу, словно на коньках; делал это с большой сноровкой, подлетит и сейчас же откатывается к столу. Походило, точно на резинку привязали живого мышонка, разбежавшись, он растягивал резинку, потом она быстро и бесшумно притягивала его назад. Во время беготни Кучурин зорко осматривался, не идет ли кто из «опасных». Раза два появился в комнате дядька, но Кучурин всегда своевременно успевал стать на прежнее место и просил дядьку с раскаянием на лице:

— Лаврентий Иванович, пустите.

Пробил дребезжащий звонок. В «занимательной» показался Лаврентий с громадным колоколом в руках — таким колоколом, какой привязывал к дуге наш кучер, когда мы переезжали из деревни в город... Грозно звенящий дядька прошелся по всей комнате и что-то кричал. Слов я за звоном не разобрал и продолжал сидеть, как пришитый к парте. В коридоре был слышен шум; гимназисты куда-то шли... Куда, я не знал.

Во всей «занимательной» нас осталось только двое: Кучурин да я. Показался воспитатель и крикнул на наказанного:

— Кучурин, ты что?

Лицо у гимназиста сделалось плаксивым.

— Меня дядька поставил, — слезливо проговорил он.

Воспитатель повернулся ко мне. Лицо Кучурина мгновенно сделалось хитрым, и он показал воспитателю язык.

— Ну, а ты чего тут сидишь? — спросил меня воспитатель.

— Я не знаю... — начал было я.

— Ужинать, ужинать... Экий ты, брат, неаккуратный. Ступай ужинать.

Он взял меня за плечо и повел в коридор.

— А меня-то, Василий Пет-ро-вич? — заголосил Ку-чу-рин.

— Наказан — и стой! — бросил воспитатель.

За нами раздались вопли.

В полутемном коридоре стояло, выстроившись попар-но, около сотни гимназистов. Стояли они небольшими кучками. Каждая начиналась парой маленьких; за ни-ми шли побольше, затем еще более взрослые. Кучка за-мыкалась уж совсем большими гимназистами, но так же, как самые крохотные, остриженными и одетыми в смешные, точно детские, рубашки.

— Михалевич, у вас, кажется, есть место? — спро-сил воспитатель одного из взрослых. — Есть? Так вот вам, этого и возьмите.

Михалевич взял меня за плечо и поставил перед собой.

— Ступайте, — донесся голос воспитателя, и пансио-неры вошли в столовую.

Большая и узкая обеденная комната была загромож-дена десятком длинных столов, расставленных вдоль стен. У одной стены под образами помещался стол «вос-питательский», на других же столах начальниками были восьмиклассники. Эти «столоначальники» заведовали хозяйством стола. Они раздавали воспитанникам пищу, смотрели, чтобы все было в исправности, и вообще испол-няли обязанности отца семейства. Все добивались воз-можности сидеть к начальнику поближе: это означало иметь подчас лишний кусок.

Ничего этого я в то время, конечно, еще не знал. Робко поплелся я за своим начальником... Мне ука-зали место, я хотел было сесть, — не тут-то было: с вос-питательского стола был подан знак, и воспитанники запели:

Очи всех на тя, господи, уповают,  
И ты даешь им пищу во благо-вре-мени...

Потом сели. Белые служители подали на длинных блюдах дымившуюся гречневую кашу и топленое масло в соусниках. К «столоначальнику» потянулись тарелки; спешно он наложил каждому каши, и все, так же спеша, начали есть. Все знали, что у воспитателей «в ногах ртуть», и торопливо глотали горячую кашу: как только воспитатель встанет, доедать кушанье уже было нельзя. Ели все в полном и сосредоточенном молчании, только звенели ложки да слышалось покашливание... Я хотел было о чем-то спросить соседа; на меня зашикали.

— Разговаривать нельзя, — добродушно сказал мне начальник стола и улыбнулся моему неведению.

Воспитатель, действительно, вскоре вскочил. Загромыхали длинные скамьи, все воспитанники поднялись, опять запели молитву, начали креститься; бывшие между ними ученики-киргизы молитвенно терли себе лицо руками. После молитвы воспитатель стремительно и смешно побежал к выходной двери. Фалды его вицмундира развевались, как хвост у ласточки. Ученики проходили мимо него и благодарили, кланяясь.

После ужина все разбрелись по своим местам. Было в пансионе две «занимательных» комнаты. В старшей помещались ученики старших классов, в младшей — мелкота от приготовительного класса до четвертого. Все убранство этих комнат составляли испещренные кабалистическими знаками парты и громадные, местами продранные ландкарты по стенам; в старшей «занимательной» стояли еще «параллельные брусья» для гимнастических упражнений, а в младшей этой цели служил воспитательный стол, — разумеется, в отсутствие воспитателя.

Когда ученики разбрелись по своим партам, я тоже поплелся к своей и застенчиво присел на отведенное мне место. Освобожденный от наказания мой сосед Кучурин поместился рядом со мною и с аппетитом уничтожал принесенную ему кем-то на исписанном чернилами листке кашу. Он брал ее прямо пальцами и весь в ней перемазался... Однако глаза зорко бегали по сторонам:

не идет ли начальник? Кончив еду, он повернулся и спросил без всякого сердца, видимо успокоенным голо-  
сом:

— А как тебя зовут?

Я сказал.

К нам подошли еще ученики.

— У тебя черные глаза, — сказал мне кто-то. — Как у галки. Мы тебя застрелим.

— Застрелите, — просто сказал я.

Это их, кажется, удовлетворило.

— А ты умеешь стрелять? — спросил меня Кучурин.

— Нет.

— А я умею.

— Врешь, — усомнился кто-то.

— Умею! — В глазах гимназистика засверкал за-  
дор. — У меня есть монтекрист<sup>1</sup>. А сначала я стрелял  
из рогатки дробью... а то камнем. Подойдешь к голубям,  
трах — он так и завертится.

— Голубей жалко! — сказал я с убеждением.

Все посмотрели на меня.

— Это верно, — подтвердил кто-то. — Мне сестра го-  
ворила: голубь — это святой дух. Вот кошек не жалко.  
Кошки поганые.

Подошел дядька. Все рассыпались в разные стороны.

— Ты чего ж книг-то не просишь? — обратился он  
ко мне солдатским, добродушно-ворчливым голосом,  
хмурая косматые брови. — Как уроки-то учить будешь? И  
бумаги себе добудь и перьев. По порядку. Подойди вон  
к воспитателю и скажи: «Пожалуйте перьев».

Я подошел к воспитателю и сказал:

— Пожалуйте перьев.

— Что? — коротко спросил воспитатель, быстро за-  
хлопывая ящик стола, где лежали конфеты.

— Перьев ему... да книги...

По-видимому, дядька брал меня под свое покрови-  
тельство.

---

<sup>1</sup> Монтекрист (монтекристо) — охотничье ружье.

— Ах, да, да! Так выдайте ему, Лаврентий, выдайте.

Дядька медленно пошел со мной куда-то наверх и выдал мне книги, тетради, перья и карандаш. Выданное он тщательно записал в особые книги.

— Смотри береги! — говорил он мне, вручая книги и грозя пальцем. — Не порть, не рви... Сам пропади, а книгу сохрани. Потому книга — она казенная!

Опять поплелся я к своей парте. В «занимательной» было тихо, несмотря на то, что была она полна народом. По-видимому, все воспитанники сморились за день и хотели спать.

Голые стены, однообразно окрашенные в два цвета, казенные парты, копящиеся на потолках лампы с громадными жестяными абажурами — все это в сумраке осеннего вечера казалось в особенности чужим, противным и тяжелым. Невольно вздрагивали губы, чаще обыкновенного мигали глаза. Наконец в «занимательной» опять появился дядька с звенящим колоколом.

Все торопливо поднялись; поднялся со своего места вслед за выходящими и я. Вошли в старшую «занимательную». С разных углов этой комнаты, такой же скучной и неудобной, потянулись более взрослые гимназисты и начали строиться в линии. Робко поглядывая на воспитанников, я жался к стороне у двери.

— Вперед! — апатично крикнул на меня воспитатель. — Не знаешь?

Он взял меня за плечо и потащил вперед к кучке маленьких гимназистов.

— Не знаешь? — повторил он.

Я и на самом деле не знал.

Вглядевшись в темный угол, я заметил там висевшую икону. Перед нами — самыми маленькими приготавливавшими — стояло два средних воспитанника: высокий и коротенький. Коротенький скоро зачитал заспанным голосом молитвы. Потом сзади зашумели; я увидел, что все стали на колени; стал и я. «Святейший правительствующий синод...» — равнодушно читал «средний» гим-

назист. Он то менял голос и говорил вместо дисканта басом, то твердил, заикаясь, подряд несколько раз одно и то же слово и, поворачиваясь к нам, смешно жевал и шлепал губами. Некоторые из приготовляшек чуть слышно фыркали. Потом опять зашумели. Все поднялись с колен. Иные шумно чистили себе ладонями запыленные колени. Казенная вещь!

Опять начали молиться. Потом маленький чтец смолк, к молящимся важно повернулся другой, побольше, и трескучим басом прочел главу из евангелия. Потом опять повернулся и щелкнул каблуками рыжих сапог. Маленький опять зачитал. Вскоре молитва кончилась. Теперь я уже видел, что необходимо присматриваться к тому, что делают другие. Начал наблюдать. Все пошли по коридору к швейцарской, и я пошел за ними. У вешалки с воспитательским пальто опять выстроились попарно. У всех были свои пары; не было пары только у меня. Однако на этот раз никто не обратил на меня внимания. Всем хотелось спать, и как только до выстроившихся добрал нагруженный книгами воспитатель, все шумно и торопливо побрели во второй этаж вверх по громадной каменной лестнице. Мельком взглянул я за перила: нижний этаж казался черною пропастью.

— Вот отсюда тогда Смирнов и бросился! — услышал я близ себя пугливый шепот. Говорили двое маленьких, взъерошенных, жалких. В глазах их виднелся испуг, который сейчас же сообщился и мне. «Отсюда бросился!» — сверкнуло в уме. Я снова покосился на зиявшую под нами пропасть.

Опять перед глазами потянулся коридор. И был он такой же длинный и скучный и с такими же лампами; в голову мне на мгновение забрела мысль, что мы снова спустились вниз. Воспитанники разбрелись по спальням, а я остался один и не знал, где мне лечь. То, что было мне неизвестно, где лечь спать, почему-то тогда показалось мне в особенности горьким. Бродя по коридору и видя, как все раздеваются у своих постелей, я вдруг не сдержался и заплакал во весь голос. Так мне стало жал-



ко себя!.. Я бродил по темному коридору, и плакал, и вытирал кулаками слезы, а со мной бродила моя маленькая пугливая тень — больше не было никого.

Заметил меня случайно вошедший воспитатель. Услышал ли он мой плач или просто вспомнил о новичке, только, выйдя из старшей спальни, он натолкнулся на меня и спросил:

— А ты чего ходишь?

— Не-е знаю... спать где, — с рыданиями пробормотал я.

Воспитатель густо побагровел и крикнул громовым голосом:

— Лаврентий!

Из-за угла показался струхнувший дядька. Очки съехали у него на конец носа, и руки держал он так, будто собирался вспорхнуть.

— Это что же? — сердито заговорил воспитатель, тыча в меня пальцем. — Вы уже свои обязанности забываете... Нельзя же в самом деле так бросать детей... Я не понимаю.

Воспитатель закашлялся, расставил руки и пошел прочь.

С неописуемым ужасом поглядел я на дядьку, когда остался с ним наедине. Я думал, что Лаврентий разорвет меня в клочки или сбросит через перила лестницы.

Но дядька только поглядел на меня внимательно и сказал, покачивая головой:

— Человек-мужчина, а рюмишь<sup>1</sup>.

Ну какой же ты емназист! Пойдем, укажу постелю-то.

И повел меня в младшую спальную.

Мы вступили в большую комнату, где в два ряда стояли кровати. Одеяла на них были серые шерстяные, подле каждой стояли желтые табуретки.



<sup>1</sup> Рюмить — издавать однообразно-тоскливый звук, хныкать по-ребячьи.

— Вот это твоя постеля! — указал мне дядька и добавил не без гордости: — Будешь спать рядом со мной!

Мельком я осмотрел младшую спальню. Почти на всех кроватях лежало по малышу. Иные уже спали, некоторые покосились на меня с любопытством.

— Теперь раздевайся, — проговорил дядька. — Скидай всю амуницию и ложись. Платье клади в порядке. Ишь, черные глаза!

Он вышел, и я начал раздеваться. Стало холодно, по телу забегали мурашки, застучали зубы. Я юркнул под тощее одеяло и сжался в комочек. Около меня внезапно что-то загремело. Повернув голову, я увидел, что мой сосед, крошечный, костлявый, приподнялся с постели и начал ее поправлять. Я посмотрел на его кровать. Матраца на ней не было, лежала, сморщившись, одна простыня. Я с ужасом догадался. Это был наказанный. За какую-то провинность у него сняли с постели матрац. Так, на голых досках, он должен был провести ночь. Я видел, как он все двигался на досках и поправлял свою простыню. Время от времени он снова поднимался и все старался улечься на свернутой в несколько раз половине одеяла. Другим концом он пытался прикрыться. Одеяло поминутно сползало, гимназистик ворочался, тихо плакал, и доски под ним скрипели и двигались.

— Знаешь что? Я подвинусь, и мы уляжемся вместе, — сказал я наказанному.

Тот поглядел на меня, сердито сдвинул шнурочки брови и отвернулся.

— Право, места нам хватит! — добавил я.

— Убилайся к челту! — прикрикнул на меня гимназистик и закрылся с головой одеялом...

Очень стало тяжело на душе. Такой милой и невозвратно утраченной казалась маленькая квартирка, где жила с двумя братьями мать. Потянуло домой, и самое тяжелое было то, что вернуться было нельзя, что кругом были голые неуютные стены, чужие люди, чужие подушки, одеяла... Громкие вздохи заставили меня высунуть из-под одеяла голову. Около меня стоял в нижнем белье

босой дядька Лаврентий и истово крестился, кланяясь, как игрушечный слон. Он громко вздыхал, пучил глаза, покашливал и тер лысину. Потом грузно опустился на колени и начал часто-часто бухать об пол головой. Это было смешно, но я не смеялся: хотелось плакать.

## II

*Пробуждение пансиона.— В швальне каптенармуса.— Сборы в гимназию.— Пансион опустел*

Старые осипшие часы, висевшие у дверей младшей спальни, гулко пробили пять раз. Под серо-сизым казенным одеялом задвигались огромные ноги дядьки Лаврентия. Вот он, я вижу, поднялся, присел на кровати и, протирая красные, как у тетерева, глаза, делает со сна умерительные гримасы... Давно не бритое лицо его, заросшее колючей седой щетиной, выражает неудовольствие, черные брови ползают по лбу, как мыши; он зевает и часто-часто крестит свой рот.

Затем он идет в умывалку; это темноватая, холодная комната, посреди которой стоит огромный из красной меди умывальный чан. Дно его усеяно рядом медных стержней. Человек двенадцать могут умываться одновременно, но пока — дядька один.

Умывается Лаврентий медленно, с наслаждением, фыркая, как опившийся кот. После умывания он подходит к одной из длинейших скамей, тянущихся вдоль стен умывалки, и начинает чистить себе сапоги. Эти скамьи уставлены громадными чашками с жидкой ваксой; масса щеток, больших и малых, разбросана по ним.

Вычистив себе сапоги, дядька окончательно приводит в порядок свой туалет, — расчесывает брови, протирает

---

<sup>1</sup> Каптенармус — заведующий складом, мундирами и вообще амуницией.

очки и поворачивает перед зеркалом из стороны в сторону голову.

Скоро уж шесть. Скоро звонить. Мельком взглядывает Лаврентий на казенный градусник. Давным-давно, с самого основания пансиона, повесили его у косяка двери, и с тех пор невозмутимо-добросовестно и в зиму и в лето показывает градусник четырнадцать, как бы температура ни менялась.

Часы бьют шесть. Дядька берет с подоконника свой колокол. Оглушительное дребезжанье меди нарушает мертвую тишину.

— Вста-ва-ать! — кричит Лаврентий, потрясая звонком. — Вставайте! Вставайте!

Свой трезвон начинает он с младшей спальни. Как часто во сне казалось, что вот на тройке приехали из дому! Старший брат Саша сидит в тарантасе и смеется... Лошади летят быстро, заливается колокольчик: динь-динь-динь.

И сейчас же становится необыкновенно холодно. Смотришь — дядька сдернул с тебя одеяло и звонит над ухом, крича:

— Вставайте, засони... Живо, раз-два! Сено, солома. Калач, витушка.

Хочется плакать.

А Лаврентий уж в средней спальней.

— Иванов, Десницкий-второй! — кричит он, идя бесконечным рядом серо-сизых кроватей. — Ткаченко, Стоюнин, по порядку, живо! Вставайте, умывайтесь, пятки получайте!

После этого он проходит в старшую спальную. Здесь он звякает колоколом слабо, почти с уважением, и все воспитанники — семи- и восьмиклассники — еще спят безмятежным сном. Эта привилегия не вставать сразу по звонку установилась за старшими долгим обычаем. Как, бывало, завидуешь им, проходя мимо их спальни по холодному коридору! А ведь и все преимущество заключается в каких-нибудь пятнадцати минутах.

Как бы то ни было, старшие еще спят. В спальне

тихо, и только нечто сторбленное и худое, издали похожее на гипсовое изваяние, двигается в углу у печки. Это — дежурный воспитатель.

Обнявши колени руками, он медленно поводит по сторонам мутными от сна глазами, еще не сознавая себя. Прислужник умывальной комнаты приносит воспитателю ярко начищенные штиблеты и тихо удаляется, раскачиваясь из стороны в сторону, как идущий по проволоке гимнаст.

Воспитатель переводит глаза на башмаки, и вид их напоминает ему, что следует одеваться.

С трудом попадая в рукава, он надевает заплесневевший, брусничного цвета, давно ставший историческим халат и идет умываться, шлепая огромными стоптанными туфлями. «Историческим» халат называется не без причин: по преданию, был он куплен в день закладки здания пансиона; а кроме того, носит на себе следы «историй» с воспитателями: он залит чернилами, изрезан ножницами и замазан ваксой и клейстером...

Умывшись, воспитатель аккуратно причесывается и идет, перевесив через плечо полотенце, в старшую спальную. Облачившись в вицмундир и надев галстук, он начинает расхаживать по комнате, время от времени покрикивая:

— Господа, вставайте! Половина седьмого.

Но голос его — глас вопиющего в пустыне. Пробуждаются только те, которые вечером не доучили уроков и которых это беспокоит. Остальные спят.

Воспитатель тревожно бродит по спальней, ежеминутно посматривая на часы. Старшие спят, а через десять минут следует идти на молитву. Отчаявшись в своих силах, воспитатель выходит из спальни и засылает будить воспитанников дядьку.

Лаврентий, уже поставивший на ноги «молокососов», в старшую спальную входит неохотно. Для него будить восьмиклассников — дело неприятное, но, исполняя волю пославшего, осторожно касается он до одеяла каждого спящего и негромко объявляет, что «вставать-с пора-с».



В это время в умывалке шум, гам и смятение. Она полна малыми и средними гимназистами. От падающих умывальных стержней, от выскальзывающих из рук сапожных щеток и перебраняющихся голосов в умывалке шумно, как в кузнице. Воспитанники длинными рядами стоят за каждым умывающимся в ожидании очереди. И сколько здесь происков, протекции, недовольных лиц, сколько зависти! Иные спешат попасть под крыло известного в пансионе силача. Из расположения к своему клиенту или из каких-либо корыстных видов силач бесцеремонно отталкивает законно занявшего место кандидата и ставит на его место своего протеже.

С появлением воспитателя в умывалке воцаряется временный порядок. Пинки и подзатыльники прекращаются, чистившие сапоги перестают мазать врагам лица сапожными щетками, линии очередных выравниваются, плачущие смолкают. Но воспитатель заходит только на минуту, и с исчезновением пугала все принимает свой обычный облик.

Из умывалки воспитатель опять направляется в старшую спальную посмотреть, в каком она положении. К его удовольствию, почти все встали.

К семи часам в умывалке — исключительно «интеллигенция»: только старшие. Разговоры — тоже особенные: про знакомых барышень, про театр, про женщин пансиона... Женщины эти — жены слугителей.

После чая до начала занятий в гимназии оставалось около трех часов, но воспитанники обыкновенно выводились из пансиона в самом начале десятого, так что на репетицию уроков давалось не более двух часов. Эти часы были самым лихорадочным моментом в жизни пансиона. Немногие счастливые могли похвалиться тем, что у них было все приготовлено. Волей-неволей приходилось рассчитывать на «сдувание» и подсказки.

Время бежит... до отхода в гимназию остались минуты. Везде, даже в старшей «занимательной», тоска и смя-

тение, и только в одной комнатке еще держится в это время искреннее оживление. Комната эта — швальня каптенармуса.

Добрейший старик, Иван Ильич, — сам каптенармус — сидит у окна своей швальной на табурете, окруженный «приготовяшками» и прочей мелкотой. Все они разместились около на длинных желтых скамьях без брюк, без блуз, без сапог. Некоторые из них возятся в темных уголках, благо не видит занятый шитьем каптенармус. Уморительно щуря глаза, вдевает он в иголку нитку, похожую на канат и обильно им «для крепости» навощенную. Иван Ильич молчит, но язык его все время в движении, точно он именно языком проталкивает в игольное отверстие свою нитку. Но вот игла снаряжена. С удовольствием нашивает каптенармус заплаты — одному на колени, другому на воротник, третьему на спину. Его мало занимает, что рубаша давно позеленела, а заплата новая; не много, кажется, занимает это и малышей. На красоту платья обращают внимание лишь подрастающие, а этим пока еще все равно, носят ли они блузу среднего или старшего возраста. Поэтому в клетках младших питомцев (а у каждого пансионера в швальной имеется особая клетка для платья) встречаются брюки и блузы «каменного периода», чуть ли не выдавшие закладку пансионера.

Если Иван Ильич находится в добром расположении, то за шитьем он начинает свои рассказы. Рассказывает он обычно из эпохи русско-турецкой войны семьдесят восьмого года и, повествуя, сообщает, на страх «молокососам», самые удивительные факты: как он один перестрелял из пушки четыре турецких полка, как однажды летел он на скакуне через турецкую столицу с секретным письмом генерала Скобелева... Фантазия у него была необыкновенная. «Идешь, идешь по поднебесным горам — молонья внизу так и громыхает... Ну, захочется курнуть, приставишь к молонье трубочку, закурил и идешь себе, любо-дорого...» Малыши бывали в восторге.

Время от времени в швальню заходит дежурный во-

спитатель, занятый утром подготовкой к урокам самого себя. Появление его всегда сопровождается поспешным уходом лишних лиц и постановкою некоторых из них в виде наказания «под часы».

В девять часов воспитатель собирает свои книги и тетради и обходит пансион в последний раз; а в четверть десятого снова оглушительно звенит колокол, и пансионеры идут в швейцарскую одеваться.

— Пу-парно, пу-парно! — кричит дядька Лаврентий, обходя малышей и «средний возраст». — Сено, солома! Витушка, калач!

Иногда перед моментом ухода в дальних от воспитателя парах старших воспитанников вдруг начиналось глухое «брожение», выражавшееся в хлопанье об пол калошами.

— Что это? — спрашивает одевающийся воспитатель.

Вместо ответа калошный шум повторялся. Воспитатель срывается со своего места и опрометью бросается на беспорядки. На лицах малышей — неподдельное восхищение. С завистью и уважением оборачиваются они назад.

Тихо. Воспитатель отходит. Калошное движение повторяется, но в большем размере. Лицо воспитателя покрывается смертельной бледностью.

— Кто стучал? — задыхаясь, спрашивает он.

Молчание.

Воспитатель снова пытается отойти — и снова беспорядки. Опять бежит назад воспитатель.

— Это безобразие, безобразие! — Голос его дрожит от гнева. — Лаврентий, ведите.

Он остается подле бунтовщиков. Впереди слышно щелканье замка и визг двери — то швейцар растворяет пансионскую дверь. Клубы пара влетают в прихожую с лестницы. Воспитатель берется за свой котелок; в котелке чьими-то хищными ножницами вырвано треугольное отверстие.





*Наша гимназия.— Немного о начальстве.— Типы учителей.— Первая единица.— На уроке математики*

Гимназия наша стояла на обрывистом берегу реки и находилась недалеко от пансиона. Снаружи это было длинное трехэтажное здание, выкрашенное казарменной желтой краской, с тусклыми окнами и проржавевшим крестом посередине крыши. Не была лучше гимназия и внутри. В двух нижних этажах помещались классы, церковь, библиотека и учительская комнаты, на третьем этаже были квартиры главного гимназического начальства и канцелярия.

Младшие классы помещались внизу; во втором этаже занимались воспитанники старшего возраста. Оба этажа были чрезвычайно похожи один на другой. Посредине шел обычный длинный и темный коридор, а по бокам тянулись классы. Одной стороной нижний коридор упирался в церковь, другой — в так называемую актовую залу, библиотеку и учительские комнаты. Стены были как и во всяком казенном месте: снизу крашены масляной желтой краской, сверху белые, полы паркетные. В классах же было введено некоторое разнообразие: стены были «исполнены» каким-то особенным манером — синими и красными кляксами... Помню, на первых порах я подолгу и с удивлением рассматривал эти стены.

Войдя в гимназическую прихожую, мы снимали с себя в особых комнатах пальто (пансионеры и приходящие раздевались отдельно) и, забрав свои тетрадки и книжки, расходились по классам.

Первые дни своего гимназического житья я чувствовал себя, конечно, очень стесненно. Кругом были искусившиеся в шалостях и проказах гимназистики; и побаивался я их, и смотрел на них недоверчиво: уж очень казались они мне шустрыми и бойкими — они и по ок-

нам лазили, и папиросы курили, и кропили друг друга мокрыми губками... А ведь были все «приготовительные»; самому старшему насчитывалось не более двенадцати лет... Освоился я с товарищами не скоро.

По приходе в гимназию нам оставалось на разговоры и подготовку не много времени. Около десяти в конце коридора появлялся заспанный старичок, швейцар Матвей Никифорович, и звонил «на молитву». После молитвы дежурные мыли губками классные доски, вешали географические карты и вообще приготавливали класс «к пришествию антихриста»<sup>1</sup>. Страшное время приближалось. Стихали даже отчаянные. Некоторые готовили к занятиям книги и «сдувалки», иные крестились, иные условливались с товарищами насчет подсказывания...

Вот дежурные стремительно прыснули от двери.

Все шумно встают: в класс стремительно входит преподаватель.

В первое же свое появление в гимназии, помнится, я был страшно поражен следующей сценой. Проходил я по коридору — было мне тогда десять лет — и внезапно услышал за собой гневный окрик. Обернувшись к актсвой зале, я увидел стоявшего посреди нее в гневной позе господина средних лет, седоватого, бледноватого, в очках и вицмундире. Это был директор гимназии. Он что-то кричал, размахивая руками, а подле него, на коленях, стоял плачущий гимназист лет четырнадцати. Я замер от ужаса. Около группы стояла толпа учеников разных возрастов, так же окаменелая, как и я. Что-то новое, острое овеяло душу, сразу ожесточило и замкнуло в себе. Я поспешил узнать от товарищей про вину ученика; оказалось, никто путем не знал; полушепотом говорили только, что воспитанника за что-то предназначили

---

<sup>1</sup> К пришествию антихриста. Антихрист — противник Христа, носитель зла, символически изображаемый в образе семиглавого и десятирогого зверя, который, по христианскому вероучению, будет побежден Христом при втором его пришествии.

к исключению и он должен был вымалывать себе прощение на коленях... Чем кончилось дело, я не знаю, но с того времени прошло теперь больше двадцати пяти лет, а сцена в моей памяти как вчерашняя. Припоминаю еще: как-то раз, много времени спустя, довелось мне столкнуться с этим директором. Весь дрожавший, я посмотрел ему в глаза: мне казалось, что вот-вот сейчас и мне прикажут стать на колени... Но глаза у директора были тихие, добрые и улыбающиеся; это были обыкновенные близорукие глаза старого человека, — и все же мне на душу повеяло холодом. И когда директор, желая, вероятно, обласкать, взял меня за воротник блузы и повел куда-то с собой, я шел, ничего не слыша и думая только об одном: вот сейчас эта ласковая рука сильно пригнет меня к полу, и моя судьба решится навсегда. Такова была атмосфера нашей гимназии.

Когда же я вспоминаю случайно замеченную сцену, как к засидевшемуся лишние пять минут в учительской вновь назначенному преподавателю подошел этот директор и ворчливо-язвительно сказал: «Пора в классы, пора», и как робко вскочил со своего места учитель и побежал в классы, — я сознаю, что в атмосфере старой гимназии задыхались не одни мы, маленькие гимназисты.

Директор этот вскоре скончался. Нас посылали на панихиду по нем, дарили некоторым его фотографии... А тем же вечером в старшей «занимательной» воспитанники седьмого и восьмого классов баловались, как подростки, и громко распевали песни.

Но достаточно о директоре.

Как-то вечером, будучи еще во втором или третьем классе, сидел я в пансионе на своей парте, готовя уроки. Внезапно до меня долетел сдерживаемый хохот. Инстинктивно я взглянул на соседа. Лицо у него было красно от смущения и перепуга, — незаметно он толкал меня рукою, точно о чем-то предупреждая. Еще не понимая, я взглянул прямо перед собой и на расстоянии аршина увидел качающуюся снизу вверх гладко остриженную голову с ехидно улыбавшимся ртом, с блестящими ма-

ленькими глазами. Голова все время двигалась снизу вверх, точно мне кланялась. Рука с золотым кольцом лежала на спинке рядом стоявшей парты; только по рукаву с блестящими пуговицами я догадался, что передо мною начальство. Я обомлел от страха. Я понял, что, занявшись уроками, не заметил прихода инспектора и забыл ему поклониться. Вздрыгнув, я вскочил со своего места и стоял, не сводя глаз со все кланявшегося мне инспектора. Заметив, что я встал, инспектор перестал кланяться. Сгорбленная старческая фигура выпрямилась. Я увидел только спину, облаченную в вицмундир.

— Какой он невнима-тельной! — с нерусским акцентом сказал он сопровождавшему его воспитателю. — Я нарочно ему... кланялся, кланялся...

И, повернувшись ко мне, добавил:

— Остан-нись без ужин.

И ушел. Товарищи обратились ко мне с перепуганными лицами и упрекали за рассеянность.

— Теперь съест! — убежденно говорили они.

Кстати об ужине. В тот день мне не посчастливилось в особенности. Вечером меня оставили без ужина, а днем, несколькими часами раньше, без обеда.

Случилось это таким образом.

После уроков назначили спевку. Пришел регент, начали что-то петь (готовились, кажется, к акту). Во время популярной в то время в нашей гимназии песни:

Светлой радостью горя,  
День торжественный встречайте...—

я машинально посмотрел себе на локоть. Подошел классный наставник и сказал мне негромко и спокойно:

— Без обеда.

Он сейчас же отошел, а я принужден был сидеть голодным. За что? Я не знал. Так, здорово живешь. Я склонен думать, что классный наставник на меня не сердился. Он просто увидел что-то не такое, каким оно следовало быть, и сейчас же сказал привычное «без обеда». Весьма вероятно, что он сейчас же и забыл это, и, будь это се-

кундой раньше или позже, он бы и не наказал меня, но подошла такая минута, и я не должен был обедать.

Еще припоминаю: стоявший рядом со мной гимназист сказал мне с злорадством:

— Смотри не съешь тарелку!

Почему он радовался? Почему до сих пор передо мной стоят маленькие водянистые глаза маленького раба, радующегося тому, что другой раб наказан господином?..

Помнится, это было первое наказание, которое меня постигло. Наказавший слыл в гимназии за такое лицо, у которого не только нельзя было спросить «за что», но даже попросить прощения — значило быть наказанным вчетверо. Поэтому я мучился еще больше оттого, что не знал причины наказания. Когда все за обедом начали есть и старший спросил меня:

— А ты что же?

Задыхаясь от слез и от страха, что сейчас откроют мой позор, я пробормотал:

— Мне не хочется.

Старший только пытливо посмотрел мне в глаза — не сказал ни слова. А спроси он меня, не наказан ли я, я знаю, что тут же бы разрыдался во весь голос.

В середине обеда в столовую внезапно вошел тогда тот классный наставник (он иногда заменял инспектора), который на спевке оставил меня без обеда. Лицо у него было ровное и спокойное; он даже не взглянул на меня; он только прошелся мимо и вышел; конечно, он забыл обо мне совершенно. Но теперь, вспоминая этот маленький случай, я спрашиваю себя: «А что, если он помнил о том, что оставил меня без обеда?.. Что, если именно за этим он и пришел в столовую?»

Среди группы учителей, в свое время нас учивших, особенно памятным остался мне Федор Петрович Чайкин. Маленький, сморщенный, с совершенно голой головой, с трехцветной бородой клином, он преподавал у нас математику. Представляя теперь себе его сгорбленную фигуру, старчески упавший рот, затонувшие в морщи-

нах глаза, я спрашиваю себя: как могли мы бояться этого крошечного человека всей степенью того панического ужаса, который он в нас возбуждал? Но иногда, даже теперь, ночью, просыпаюсь я, весь холодный от страха перед злобно-презрительным взглядом Федора Петровича. «Да остричься!.. Бол-ван!» — звенит у меня в ушах, и до боли нестерпимо жалко мне маленьких гимназистиков, если им где-нибудь еще и теперь преподают таким образом математику.

К математике я никогда не чувствовал особой склонности. Суровая школа запугала меня ею в самую раннюю пору: когда я был еще в приготовительном классе.

Помнится, дома меня хорошо подготовила к вступлению в гимназию мать. В приготовительном классе я учился одним из первых. Но вот уже сколько лет прошло, а я все помню, как получил первую единицу.

Учитель вызвал меня к классной доске. С его слов записал я на ней мелом задачу и стал обдумывать.

Сначала дело шло хорошо. Я исписал цифрами уже половину доски, как вдруг, оглянувшись на преподавателя, заметил, что он сидит ко мне спиной и занят совсем посторонним делом: он подписывал, для скорости, чтоб не носить домой, тут же в классе бальники учеников. Мысль, что я один, всколыхнула нервы. Я знал, что одно слово, ободряющий взгляд — и я решил бы задачу. Но учитель был безмолвен, он даже и не глядел на меня. Просительно взглянул я на товарищей. Одни улыбались, другие кивали головами как-то отрицательно, третьи злобно высовывали языки. Сердце во мне упало. Мысль, что я не решу задачи, наполнила всего меня отчаянием.

— Григорий Иванович, — взмолился я к учителю.

Тот не отвечал.

— Григорий Иванович! — повторил я и подошел к нему. Во мне еще теплилась слабая надежда.

— Ну? — сказал учитель недовольно и, обернувшись на мгновение, коротко бросил: — Решай, решай... ты!

Гордость и бешенство вспыхнули во мне. Побледневший, глотавший слезы, я положил мел на барьер клас-

сн<sup>ой</sup> доски и стал неподвижно, отвернувшись от класса лицом. Учитель все подписывал тетрадки. Я уже не думал о задаче и не хотел думать о ней и только с томлением ждал, что вот-вот прозвенит колокол и окончится урок. Во мне все было оскорблено, все поднялось и ежеминутно готово было прорваться судорожным плачем.

Наконец звонок пробил. Учитель не спеша собрал тетради, обернулся ко мне, с усмешкою оглядел мои вычисления и, присев на мгновение к столу, молча вклеил мне в классный журнал жирную единицу.

Он сейчас же ушел, и сейчас же я весь забился в рыданиях. Сконфуженные товарищи обступили меня и молча смотрели, как плакал и бился головою о парту я, десятилетний. Прибежал брат Александр, гимназист-второклассник. Ему объяснили. Какой-то карапузик, за что-то оставленный без обеда, плакал рядом со мной.

— Не плачь, не плачь, — говорил мне Александр, и губы его дергались. — Он не единицу поставил тебе, а черточку... черточку!

Увы! Я знал, что была единица. Я видел ее собственными глазами.

После этого учитель являлся в классы, конечно, такой же, как всегда, не чаще обыкновенного меня вызывал, ставил разные отметки за ответы... О случае он, разумеется, позабыл; он не помнил и не мог помнить о том, как оскорбил мое маленькое сердце. Но с тех пор ужас перед математикой закрался в меня; приступая ко всякой задаче, я прежде всего боялся и думал: вот опять в моих клетках появится жирная единица!.. Меня оставят без отпуска, и придет на полчаса в пансион мать, и будут у нее такие печальные, недоумевающие глаза... И вот на протяжении следующего ряда лет в моих табелях о науках рядом с отметками по другим предметам 5... 5... 5... зияло по математике едва натягиваемое 3... 3... 3...

И на протяжении восьми лет — ежедневно, может быть, ежечасно — я мучился тревожными мыслями о провале на каждом уроке математики! Если мне скажут: это болезнь, — пусть

так, тем хуже для гимназии. Мы входили в нее здоровые.

Обращаюсь к Чайкину.

Не сумею сказать, что за человек был Федор Петрович. Иногда я видел его в приступах самого яркого ненавистничества, иногда же передо мной бывал маленький, заурядный и добродушно-жалкий старичок.

— Остричься, повеса! — слышу я. — Эй, кавалер, в угол!

И в то же время припоминается добродушно-ворчливое:

— Ну, Ленев, голубчик, нельзя же так, вы подумайте.

То вижу я Чайкина таким: идет он большими шагами, рот искривлен, брови нахмурены.

— Эй, ручки в брючки! Эй ты, оболтус! В форму одеться! Без завтрака, под часы!

А то проходишь мимо него, — сидит он в учительской комнате в старом кресле. Ноги крохотные, беспомощно разъехавшиеся в разные стороны, голова опущена к земле; видна тощая стариковская шея; руки коричневые, бессильные, сморщенные; мутные глаза неподвижны; точно прислушивается он к бесшумной работе земли, которая вскоре его поглотит, — и станет мне его жалко-жалко...

Урок алгебры. Крупными шагами он входит в класс. Бросает на стол бальник и отходит к окну. Несколько минут в классе молчание. Кто-то чуть слышно шелестит учебником, кто-то крестится, многие пригнулись к скамьям и приопустили глаза. Все знают, что Чайкин спрашивает не по бальнику. Иногда достаточно кому-нибудь столкнуться с ним взглядом, чтобы тот вызвал его к ответу. Мутные глаза Федора Петровича поворачиваются к нам. Он выискивает жертву. Иногда набираешься отчаянной решимости и, весь дрожа внутри, с диким спокойствием смотришь ему прямо в глаза. Это тоже помогает: чаще всего Чайкин вызывает робко пригнувшихся к парте.



— Ну-ка... — медленно говорит он и останавливается, ища взглядом. — Нордштейн.

Слава богу, мимо! Что-то громадное скатывается с души. На четверть часа можно быть спокойным. Но впереди еще три четверти!.. И так — почти каждодневно.

Диктуется задача. Нордштейн робко выписывает формулы.

— А плюс бе, це квадрат, плюс, минус, — жалобно пищит его слабый еврейский голосок.

Чайкин с грохотом везет по классу свой стул и ставит его у печки, в самый угол, где и садится.

— Икс квадрат, зет... — неуверенно стонет у черной доски Нордштейн.

Раздается треск стула. Федор Петрович резко поворачивается к ученику, глаза его блестят от негодования.

— Поди сюда!..

Из угла комнаты идет в противоположный конец к печке маленький еврей. Губы его закушены, волосы точно ошетинились, глаза погасли.

— Повторяй за мной! — грубо говорит Чайкин. — Одна свинья. Ну?

Ученик бледнеет и молчит.

— Повторяй, тебе говорят! — выкрикивает Федор Петрович. — Оглох, что ли, ну? Одна свинья...

— Одна свинья...

— Да одна... свиная... колбаса.

— Да одна... свиная... колбаса.

— Сколько будет?

Молчание. В классе — смешки учеников. Чайкин хитро посматривает на некоторых.

— Язык, что ли, проглотил? — осведомляется он, глядя на еврея с презрением. — Ну, сколько будет?

— Складывать нельзя... разнородные, — лепечет Нордштейн.

— То-то. Теперь ступай.

Мальчик идет к классной доске.

— Два икс квадрат, — снова звенит его вздрагивающий от слез голос. — Плюс, минус...

— Ах ты, господи! — снова возмущается Чайкин. — Бестолочь какая! Поди сюда.

Снова идет через весь класс трепещущий Нордштейн.

— Рябчик жареный! — не так сердито говорит Федор Петрович. — Что, мозги-то у тебя высохли, что ли? Ну, повторяй за мной: «Пошла баба на базар».

— Пошла баба на базар.

— Купила себе два поросенка.

Лицо маленького еврея наконец зеленеет от этого издевательства.

— Купила себе... два поросенка, — повторяет он чуть слышно.

— Пришла домой, зажарила.

— Пришла домой, зажарила.

— Сделались сапоги.

— Сделались... и-и-и! — Класс оглашается жалобными рыданиями Нордштейна.

Негодующий Чайкин подымается с места. Рот его полуоткрыт, борода съехала на сторону, лысая голова вспотела.

— Пошел к стене! — резко кричит он. — Да останься на час после уроков!

Плачущий Нордштейн становится в угол. Чайкин ищет глазами новую жертву. Весь класс в смятении. Все пригнулись к партам, точно над головами проносится неистовый смертоносный циклон.

— Ленев! — наконец вызывает Чайкин.

Весь бледный, я поднимаю голову и беспомощно осматриваюсь по сторонам. Может быть, я ослышался. Все сидят пригнувшись, с искаженными от ужаса лицами.

— Ну-ка, Ленев, — ворчливо говорит Чайкин и кивает на классную доску головой.

Сомневаться более нельзя. Еле передвигая ноги, я иду как на смерть.

— Сотри всю эту мазню, — приказывает Федор Петрович.

С страшною медленностью, надеясь на спасительный

крик звонка, начинаю я стирать губкой с доски меловые цифры.

— Скорей, — торопит учитель.

Делая вид, что нечаянно, я роняю на пол губку. Все минуты полторы!

— Эх! — вскрикивает Чайкин и, взмахнув руками, подходит ко мне. — Неряха. Сколько раз вам показываю. Поддай губку.

Я подаю с пола грецкую губку. Чайкин вырывает ее из моих рук и, окинув меня негодующим взглядом, начинает сам стирать цифры.

— Смотри! — приказывает он. — Все смотрите, вы! Надо сверху прямыми линиями. Вот, вот! Вы только мажете.

Весь класс смотрит, как учит мыть доску учитель математики. Я слежу только за одним: чтобы мытье шло дольше, как можно дольше! Скоро ли звонок?

Но вот мытье кончено, а звонка все еще нет.

— Пиши! — Чайкин диктует задачу.

Ничего не соображая от ужаса, я начинаю писать какие-то цифры и буквы. Только инстинктом руководствуюсь я, здравый смысл давно загнан куда-то в пятки.

Я чувствую, что пишу неверно. Но мне все равно: плюс, минус, «а» квадрат, неизвестные... лишь бы звонок!..

— Ах! Ты! Господи! — слышу я за собой возмущенный голос. — Да что, мозги-то окаменели у вас, что ли? Остолопы!.. Поди сюда.

По стопам Нордштейна иду я к печке через весь класс. Я вижу перед собой в упор смотрящие на меня мутные глаза.

— Повторяй за мной! — приказывает Чайкин. — Я осел и соловей.

Я вздрагиваю.

— Я осел и соловей.

Ученики хихикают. Угодливо смеются запуганные рабы.



— Ты осел и соловей, — говорит Чайкин.

— Ты осел и соловей... — повторяю я с плохо скрытым бешенством и отчаянием.

— Он осел и соловей.

— Он осел и соловей.

— Так, что ли? — спрашивает Чайкин. — По-твоему, это можно спрягать?

Я молчу.

— Фу ты... бестолочь! — Федор Петрович отдувается от возмущения. — Ты складываешь икс, игрек — разные степени. Это все равно что спрягать «осел и соловей». Понял?

— Понял, — говорю я.

— Слава богу! Ступай к доске.

Опять начинаются вычисления. «Да скоро ли звонок, господи!»

Снова за спиною окрик:

— Куда поехало!.. Поди сюда.

Опять я поворачиваюсь и подхожу к Чайкину. Весь он побурел от негодования. Рот искривлен... остатки желтых зубов...

— Это что у тебя? а? — Злобно зацепляет он пальцем крохотную металлическую палочку от часовой цепочки, еле видную в петле за пуговицей. — Тоже фрانتит. Франт, ноги коровьи. Учиться мы не учимся, а тоже с цепочкой! Продень ее себе в нос, как верблюду... в нос продень! П-пошел к доске!

Мое маленькое лицо все побледнело от оскорбления. Глотая слезы, я иду к доске. От слез я не вижу ни одной цифры. Но вот — благодарение богу! — через дверь класса доносится звон колокольчика.

Кончено! Сквозь слезы я улыбаюсь... Все выпрямляются...

...Не сон ли это? Точно ли это все было?

## IV

*Снова в пансионе.— На гулянье.— Зубристика.—  
Светлые минуты.— Красный флаг.— В театр*

Звонок! Это уже последний. Сразу что-то бодрящее охватывает душу. Сейчас уйдем прочь из этой гимназии, от этих уроков, учителей, от всего, что мучило и заставляло страдать в продолжение пяти часов. Нужды нет, что идем в пансион, все-таки не видно сморщенных лиц преподавателей, не стоит прямо перед глазами черная доска, не лежит испещренный единицами классный журнал. Вот мы одеваемся. Торопливо надеваю я свое пахнувшее какой-то «дезинфекцией» серо-зеленое дряхлое пальто. Вот башлык, вот калоши. Выстроились в пары.

Выходим из гимназии.

Идти недалеко, так недалеко. Но, идя в течение жалких двух-трех минуток, бесконечно любишься на солнце, на чахлые деревьица, на едущих и идущих людей. Все вокруг любишь, как любит выпущенный из тюрьмы. О, если б так все идти по этому тротуару, бесконечно под солнцем — и никогда не приходить бы туда!.. С шипеньем растворяются пансионские двери, и старое хранилище казенных вещей поглощает нас.

Не долго разбираешься по приходе. Звонят к обеду. Охотно поедаетшь скудные пансионские яства, не думаешь о том, что завтра уроки, и весь в мечте: сейчас на прогулку!

Звенит колокол, и воспитанники собираются живо. Здесь уже нет той медленности, которая присуща сборам в гимназию. Нет и приключений, и калошного топота, и «изводки» воспитателей. Надо идти гулять на Дворянскую.

Попарно, по росту, все, от мала до велика, выходят из пансиона. Как-то не помнишь, что завтра уроки и прежние мучения. Украдкой посматриваешь на часы и твердишь:

«Ах, если бы время остановилось!»

В самом деле: в пансионе так жутко, там все напоминает о зубристике... а здесь, на улицах, светло, ярко илюдно. Что же от того, что зимою холодно, а осенью дождит? На улицах масса гуляющих, попадаются знакомые... «Бараны, бараны!» — насмешливо говорят встречные проходящие. Не обижаешься: «баранами» зовут они пансионеров за то, что те гуляют кучами, как стадо. Что же из того, что кучами? Лишь бы гулять. Вот идут барышни. Мой сосед слегка краснеет и закусывает губу. Вот он кланяется одной из барышень. «Кто? Кто?» — осыпают его вопросами. Кругом улыбаются, шутят, завидуют, вспоминают. Вот еще две барышни: губернаторские дочки. Какие они красивые! А вот — дочери местного богача. Тип восточный. Тонкие, невинные, бледные, черные волосы, черные глаза... Обе хрупкие и изящные. Одна совсем ребенок. Она хочет посмотреть на кого-то и наивно прислоняет к лицу маленькие белые пальцы, точно чешется у нее глаз. О, милая моя, любимая, маленькая!

— Ленев, тебе кланяются.

Мы идем дальше.

Проходят красивые дамы. Они улыбаются кому-то из малышей.

— Семенова мамочка! — смешливо передают подростки старшим. Гул катится дальше: — Семенова мамочка!

— Тише, господа, — говорит воспитатель, и, если он молодой, у него слегка бледнеет лицо. — Здравствуйте, Татьяна Васильевна!

Конечно, он влюблен в «мамочку Семенова».

Вот мимо проходит старый, похожий на сына окружной инспектор Котовский. Синие фуражки с веточками поднимаются над головами пансионеров. Окружной инспектор кланяется и, стараясь сделать торжественное лицо, строит гримасы, словно жует что-то кислое. Ярко блестят на солнце форменные пуговицы его пальто; одна нога инспектора, желающего кланяться, все отъезжает в сторону, точно он собирается натирать пол. А вот —

театр. Маленькое желто-серое здание, напоминающее ренсковой погреб<sup>1</sup>. Сколько разговоров возбуждает один только вид театра!

— Эх, сходить бы! — говорят старшие. — Смотрите: бенефис Платоновой. «Адская любовь». Господа, собирайтесь.

— Инспектор не пустит: «Адская любовь».

— Пустит, чего там. Проси воспитателя.

Кто-нибудь из «любимцев» обращается к воспитателю:

— Василий Павлович, попросите.

Воспитатель почти всегда пугается.

— Да как я... — мямлит он. — Да вы знаете, какой инспектор... Да он не любит...

— Нет уж пожалуйста, — просят воспитанники.

— Да вон там какая-то «Адская любовь»... «Адская»... Надо спросить священника. Я не знаю.

— Да это простая оперетка... — говорит кто-то из издавших ее на сцене. — Там ничего нет такого...

— Пошлите уже, пошлите, — тревожно соглашается воспитатель. — Может быть, разрешит. Только писать я не буду...

Воспитатель вздрагивает. На тротуаре внезапно показывается сам попечитель учебного округа. Глаза воспитателя остекленели, руки дрожат.

— В-ваше... превосходительство! — говорит он тоном безумного восхищения.

Попечитель останавливается. Останавливается всё. Кажется, остановились пешеходы, остановились экипажи, остановилось самое солнце... Остановилось всё.

— А-а, — негромко говорит попечитель и смотрит куда-то вниз, себе под ноги. Серый замшевый палец с



<sup>1</sup> Ренсковой (или ренсковый) погреб — погреб виноградных вин. Ренское (рейнвейн) — виноградное вино.

благоговением держится трясущейся рукой воспитателя. Попечитель останавливается и молчит. Молчит всё.

Внезапно попечитель вскидывает голову.

— А вы не на «Екатерининское Поле»?

Мгновение — и след попечителя простыл. Точно вознесся он на облака или провалился в преисподнюю. Никого не видно. Но что это?.. Лицо воспитателя покрылось смертельной бледностью, глаза блуждают, руки дрожат.

— На...а...зад?.. На...а-зад!.. — хрипло бормочет он, странно и растерянно дергая губами. — Скорей!.. Скорей!..

Дядька торопливо поворачивает малышей вспять. Мы идем на «Екатерининское Поле».

Все оживление пропадает: на «Екатерининское Поле» — это такая скука! Неизвестно, в каких видах купило начальство в конце города кусок земли и наставило там шестов для гимнастики. Поэтому оно и требует, чтобы подчиненные поселились там. «Веселись», — ничего не поделаешь.

Тоска. Лениво плетутся на «Екатерининское Поле» пансионеры. День испорчен. И надо было попасться на дороге этому попечителю!

Проплутав среди «виселиц» и гимнастических шестов «Екатерининского Поля», усталые и недовольные возвращаемся мы в пансион. Настроение не улучшается: наступает время зубристики.

...Если войти в это время в какую-либо из «занимательных» комнат — безразлично, старшую или младшую, — прежде всего слух поражает неясный шум, похожий на жужжание пчел. И большие и маленькие одинаково бьются над уроками; скорее, более равнодушны младшие; тогда еще нет на душе иных страхов, кроме боязни остаться без матраца или без ужина. У воспитанников же средних и старших боязнь перед единицами доходила до психоза. Блуждающие глаза, желтое лицо, пугливая улыбка, нервные, скачущие движения — вот в мое время тип среднего гимназиста. И странно и жалко припоминать, как великовозрастный юноша, одетый в



серую форменную рубашку чисто детского покроя, волновался и трясся из-за недоученного перевода, из-за непонятой теоремы... Бесконечно поражало, как громадный мужчина, может быть, имевший бы дома целую семью, не только бледнел, но буквально зеленел при входе в класс преподавателя или при обыске воспитателем в пансионских партах запрещенных вещей<sup>1</sup>.

Я уже говорил о том, как «система» наша давила меня. А ведь я учился одним из «первых» учеников. Каково же было другим, когда под конец своего «обучения» я имел настолько расслабленную и задерганную память, что было поразительно признаваться самому себе... Впрочем, это заслуживает того, чтобы сказать подробнее.

Дело в том, что под конец учения со мной сделалось что-то невероятное: память совершенно отказывалась работать. Задавали, например, нам выучить наизусть латинское или русское стихотворение. Самым тщательным образом я учил его вечером, выучивал прекрасно и... с томлением ждал: вот я завтра проснусь, начну повторять уроки и — не смогу сказать стихотворения.

И действительно: являлось утро, кончался чай, я начинал припоминать выученное вчера и, к своему ужасу, не мог сказать ничего, кроме первых строк. В волнении я снова начинал выучку. Снова выучивал, шел в класс, отсиживал уроки... и вдруг за несколько минут перед началом того урока, на котором меня могли спросить, мне в голову заходило: «Не знаю...»

Сейчас же я начинал припоминать — и весь бледнел: я действительно ничего не помнил, кроме двух-трех начальных строк. Я не могу описать тот ужас, то волнение, в котором сидел я на своей скамье. Входил преподаватель. И весь час, с минуты на минуту, я замирал

---

<sup>1</sup> Такое обыкновение в пансионе держалось крепко. Ревизии назначались всегда внезапно. Это было безобразнейшее зрелище, когда воспитатель в сопровождении двух дядек стремительно бегал от одной парты к другой в жажде «изловить» запретное (табак, некоторые книжки). (Примеч. автора.)

от ужаса в ожидании: вот-вот меня вызовут... И так бывало в продолжении двух лет на каждом уроке, когда задавали нам выучивать наизусть.

Надо заметить, что спрашивали меня редко. Учителя находили, что читать стихотворения я умею, и, к моему счастью, меня не трогали... разве только прибывало какое-нибудь начальство и надо было «показать товар лицом».

И вот однажды меня вызвали именно перед начальством. Мигом все смешалось в моей голове. Весь бледный, ничего не сознавая, я начал читать Жуковского:

Кто скачет, кто мчится под хладною мглой.<sup>1</sup>

Сказал две строки и остановился. Дальше не знал. Задавленная память отказывалась работать. Я молчал. Окружавшие меня гимназисты всколыхнулись. Бледное лицо учителя повернулось ко мне.

— Не знаю, — угрюмо сказал я и сел на место.

Волосатое лицо окружного инспектора уставилось на меня. Я до сих пор помню высохшее, желтое лицо с черными волосами на носу...

— Ленеv, вы не знаете?.. — удивленно переспросил учитель и закашлялся. — Вы?.. Вы?..

— Не знаю, — хмуро ответил я, не вставая.

Окружной инспектор как-то протяжно усмехнулся. Неизвестно почему мне моя выходка прошла даром.

«Светлые минуты» пансиона — это будничное неучение в гимназии по случаю мороза.

Суровый климат нашей стороны обратил на себя внимание «правлящих сфер». Учебным начальством было сделано постановление, что при морозе свыше известного числа градусов (цифру я забыл) учащиеся и учащие вправе не приходить в гимназию. На городских калачах в ознаменование праздника выкидывался красный флаг... Как оживлялся наш старый пансион!

---

<sup>1</sup> Строка из баллады В. А. Жуковского «Лесной царь».

Еще укладываясь накануне спать, кто-нибудь из особенно интересующихся температурой рассказывал товарищам:

— Смотрел я, господа бараны, на градусник, и там сейчас свыше двадцати.

— Дай-то, господи! — вздыхали товарищи.

Кто-нибудь из проснувшихся ночью непременно подходил к термометру за окном умывалки: нет ли желаемого количества градусов. Утром мы просыпаемся — и первый взгляд, конечно, на окна.

— Смотрите, как заледенели! — в восторге шепчет кто-то.

— Не будем! Не будем! — ликуют в разных углах.

За утренним чаем не сидится: вдруг переменится температура, перестанет ветер... мало ли что может случиться!

Старшие воспитанники отправляются в швейцарскую.

— Что, Иван, сильный ветер?

— С ног валит. Так и рвет.

— Слава Цицерону.

Старшие разносят благую весть.

Принимается она радостно, но все еще с неуверенностью. До отхода в гимназию еще почти два часа: вдруг температура переменится, перестанет ветер...

Проходит еще четверть часа. В коридоре, у градусника, целая толпа.

— Чиркните спичку, — бормочет кто-то. — Плохо видно.

— Двадцать пять градусов, господа бараны. Ей-богу.

— Врете вы все. Петров, посмотрите. Василенку верить нельзя.

— Даже около двадцати шести. Пустите, пустите, раздавили!

К толпе подходит один из дядек.

— Господа, разойдитесь, — говорит он. — Сейчас придет воспитатель, увидит. Нехорошо.

На него никто не обращает внимания. Дядька уходит донести воспитателю.

— Разойдитесь, разойдитесь! — кричит воспитатель, подбегая.

Мелкота прыскает в разные стороны. Остаются только те, которые посмелее.

— И как не совестно! — огорченно говорит воспитатель и морщит нос. — Ведь большие... Ну, уж и любите вы поучиться, нечего сказать!

На него исподтишка бросают злобные взгляды. Поучиться — это значит получать единицы, оскорбления, трястись и мучиться.

— Господа, флаг! — вдруг выкрикивает на весь пансион дрогнувший голос.

Происходит смятение. Все разом бросаются к окну. Давка и крики. Все спешат удостовериться лично.

— Флаг! Флаг! — разносится по пансиону.

В самом деле: на каланче на ветру бьется спасительная красная тряпочка.

— Ур-ра! — громом катится по пансиону.

Воспитанники куда-то бегут, обнимаются, швыряют в разные стороны книжки и кричат восторженно:

— Красный флаг!

В одной из «занимательных» раздается оглушительный треск — то разом, по команде, были брошены приподнятые крышки парт. Это называлось «дать салют», «дать пушечный выстрел» по случаю торжества.

Побледневший воспитатель вихрем уносится в сопровождении «адъютантов» на выстрел.

— Безобразие! Безобразие! — кричит он. — Кто стучал?

Полное молчание.

Воспитатель входит в следующую «занимательную». Вдогонку несется громогласная песнь:

По улицам хо-ди-ла  
Большая кро-ко-ди-ла.

В бешенстве воспитатель бросается назад:

— Кто пел?..

Опять молчание. Только если в это время оказывается дежурным воспитатель Щелкун, из задних рядов начинается чуть уловимое щелканье языками. Щелканье ведется мастерски: по лицам нельзя отгадать, кто именно щелкает...

Услышав щелканье, воспитатель бледнеет.

— Пощелкайте, пощелкайте, я подожду, — говорит он и садится. Но в это время в следующей «занимательной» слышится второй залп, и воспитатель с бранью уносится к безобразникам.

Между тем старшие гимназисты уже в буфетной комнате. Звенят серебряные деньги. Служителей посылают за чаем, за булками, за сахаром и колбасой. Некоторые служители уже стаскивают в обеденной комнате со столов скатерти: воспитанники будут пить праздничный чай; а так как торжество вне программы, то и скатерти не полагаются.

Но мы их и не ищем. Уже собраны деньги на угощение. Вот за рядом столов размещаются пирующие. За каждым столом собираются свои компании. Старшие сидят совершенно особняком, и на ином столе председательствует кургузый малыш, которого выбрали главным-командующим за то, что вчера ему мамаша принесла леденцов.

Угрюмый воспитатель отсутствует. Поэтому за столами шумно и весело. Здесь не чинятся говорить, смеяться и петь. Только тогда, когда пение делается слишком громким, в столовую заглядывает воспитатель. Он все недоволен. Чем?

До самого завтрака идет чайное пиршество. В большие груды свалены плюшки, французские булки, пончики и сахарные кренделя. Тарелок и салфеток не дается, булки лежат прямо на столах. Подле помещаются и клочки оберточной бумаги: это и есть импровизированные салфетки для ртов и рук.

За завтраком к казенному не прикасаются; пансио-

неры уходят из столовой, и в коридорные окна видно, как угощаются пансионской пищей служители и сторожа. После завтрака опять пьют чай и в три часа также не обедают... Хотя один-то день на своем, без казенного!.. Не занимаются и вечером: заниматься в «праздничный» вечер считается «мовэ-сюже», признаком дурного тона... Так празднуется в пансионе морозный день.

Теперь о театре.

Как я уже говорил, разрешение купить ложу в театр давалось нам инспектором редко. Нужно было, чтобы пьеса входила «в круг предначертаний», чтобы воспитанники заслуживали подобного удовольствия и чтобы инспектор находился в фазе благоволения... Когда же все требуемые условия складывались для гимназистов благоприятно и приносилось «разрешаю» инспектора, радостям не было конца.

Тотчас же на извозчике посылался за ложей дядька. Без дядьки пансионеров, разумеется, ни в каком случае не отпускали. В ложу набивалось нас видимо-невидимо. Я теперь прямо недоумеваю, как в крошечную ложу провинциального театрала набивалось двенадцать — пятнадцать гимназистов. Меньше же нас, кажется, никогда не хаживало.

Живо откладываются книжки. Не выучил всего — это верно; завтра будет трудно — это верно. Придем во втором часу ночи, а вставать в шесть — это тоже верно... Ну, да все в сторону... Только бы на несколько часов отойти от казенной руки!

Вот семь часов. Вот половина восьмого. Лаврентий, что же?

— Воспитатель просматривает список.

— Господи, опоздаем!

— Конечно, опоздаем. Сельдерей, Пучеглазый.

— Господа, знаете, инспектор пришел!

Мы ежимся: вдруг раздумает?.. Вдруг кого-нибудь исключит?

Робко и молитвенно смотрим мы на инспектора, ми-

мо проходим как мыши и неслышно надеваем пальто. Инспектор смотрит через очки. Господи, пронеси мимо!

Вот мы уже выстроились попарно. Вот воспитатель с бумажкой. При инспекторе он хмурится особенно деловито и считает нас, обходя, как гусей.

— Пара... две, четыре... Иванцов, Ткаченко, — четырнадцать... все верно.

Улыбающийся швейцар (милый швейцар!) спешно распахивает двери. Мы выходим. Ух, на свободе... Робко мигают милые керосиновые фонари. Тихо смотрят милые кургузые деревья... Сколько вокруг самой интересной, чудесной публики!.. Как хорошо жить на свободе и как темно у нас в тюрьме! Вот театральный подъезд. Вот околоточный надзиратель. Милый околоточный надзиратель! Он улыбается. Фу, как хорошо пахнет в театре керосиновыми лампами! Торопливо сбрасываем мы в углу логи свои шапки, калоши и пальто. Что ж из того, что шапка лежит рядом с калошами? Сейчас начнется представление!

— Купили ли афишу? — спрашивает кто-то тревожно.

— Купили, конечно. Вот она. Господа, не раздавите маленьких.

Малюток мы не забываем. Малютки сидят у нас на стульях, а мы все стоим.

Что такое? «Продавец птиц»... Чудесно, прекрасно.

— Инспектор меня спрашивает, — говорит улыбающийся дядька Лаврентий. — «Не знаете ли вы, что такое «Продавец птиц»?» Я говорю: «Так, ничего, — птиц, говорю, продают. Смотреть можно».

Лаврентий, конечно, прихвастнул и желает понравиться; но — сейчас поднимается занавес!

— Господа, пожалуйста, не аплодируйте, — просит дядька, — мне нагорит, да и вас пускать не будут.

— Хорошо, хорошо... А что, Вольская участвует?

— Участвует, вот...

Мы, средние, с завистью смотрим на старших: до нас что-то доходит! Как-то раз Сидорчук говорил: «Вольская

вчера поклонилась Трубину. Говорят, он за нею ухаживает...»

Мы с гордостью поглядываем на читающего афишу Трубина. Вот вырастем и тоже будем кланяться Вольской... Тоже будем ухаживать.

Однако поднимается занавес. Сколько красавиц! И все поют.

Почему-то нас чаще всего пускали на оперетки. Вероятно, в городе, не имевшем постоянной труппы, преимущественно и подвизалась оперетка... Но помнится, нам не разрешали ходить на некоторые драмы. «Там в нехорошем свете выставлена семья, там высмеиваются священные чувства...» Нам было это говорено.

Как бы то ни было, в погоне за нашей чистотой начальство отпускало нас почти исключительно на оперетки. И надо сказать правду, к оперетке в нас поселили любовь необычайную. Мы распевали опереточные мотивы, танцевали веселые опереточные «па», и познакомиться с опереточной артисткой считалось нами за высшую честь.

Поднялся занавес, несутся невероятные опереточные пошлости, весьма часто двусмысленные... а мы задыхаемся от наслаждения. Вот толстый комик поет куплеты.

— Браво, бис! — оглушительно кричим мы из своей ложи. Мы забыли увещание дядьки, не слышим его предостерегающего шепота и, аплодируя вовсю, не сводим глаз со своего любимца.

Антракт. Мы долго вызываем толстого куплетиста, считая пропетое им за живейшее остроумие. Народ направился из зала в коридоры и театральное фойе. С завистью проходим мы мимо фойе. Там пьют кофе, кушают фрукты... а нам туда входить воспрещено.

Вот кто-то из товарищей — счастливец! — встретил среди знакомых беленькую барышню и ходит с нею рядом по коридору, рассказывая что-то смешное... Он так счастлив, что совершенно не замечает нас и все говорит и говорит... Ах, вот в стороне мелькнуло коротенькое



розовое платье... Вот маленькие розовые туфельки, мягкий, наивный голос, доверчиво улыбающиеся карие глаза, нежно и невинно вьющиеся волосы, тонкая, как ветка березки, хрупкая рука... на одном пальчике колечко и тут же — чернильное пятнышко... Ах, мы идем домой! Спектакль кончился.

Моросит дождь. Мы плетемся по неровному тротуару. «И зачем было идти?» Вот — второй час. В шесть вставать... Неготовые уроки... теоремы... «Водопад» Карамзина... «Представьте себе большую реку...» Ах, скверно!

Злые и молчаливые, мы раздеваемся в швейцарской и хмуро идем по голой каменной лестнице во второй этаж, в спальные комнаты... Как тяжело!

Вот в углу коридора сидит с бледным, истомленным лицом ночной сторож, капрал. Подле него на столике старые железные очки, какая-то залистанная книжка, часы с будильником. Устало-равнодушно смотрит он на нас; сидел он вчера, третьего дня, год тому назад, пять, десять лет... и будет еще сидеть — и завтра, и послезавтра, и через месяц, и через два года, пока не умрет или не прогонят. Сколько видел он ученических смен! Перед его глазами в пансион поступали, учились, росли и выходили; появлялись новые, учились, томились, умирали, опять уходили... Всегда у нас к слову «капрал» прислаивалось что-то тяжелое и пугающее. Мы не знали ни его имени, ни фамилии, мы знали только, что был он капрал, что были у него угрюмые глаза, черные косматые брови, опущенная книзу голова и длинная белая борода лопатой... Про капрала говорили также, что именно на его ночном дежурстве бросился вниз с лестницы один гимназист. Говорили про него, что был он лунатик... Все это было страшно.

С нервной дрожью залезаю я под колючее казенное одеяло. Проходя по коридору, я взглянул на часы. Два. Спать можно только четыре часа! Уроки не приготовлены, завтра математика... Чайкин... Ах, плохо! И зачем было ходить в театр?..

Тихо. Спящие говорят что-то сонными голосами. Вот вскрикнули... Вот у кого-то упала подушка. Вот встает кто-то белый... Лучше закрыться с головою.

Темно. Милый родной дом! Там все теперь спят. Или, быть может, мама тихо шепчет свои молитвы и думает обо мне... Славный, чудесный дом! Ты далеко, далеко... а здесь так холодно, так чуждо... Мама, да слышишь ли ты меня?..

Чу, шорох. Розовое платье, розовые щеки, залитые тенью и в то же время такие ясные, все объясняющие глаза... Розовые туфельки легко скользят по паркету. Медленно я подхожу. Улыбается тонкое, невинное лицо. Глаза смотрят застенчиво-откровенно. Вот тихая пальма в углу полутемной гостиной. Мы сидим рядом. Улыбается тонкое, невинное лицо... «Я вас помню... ведь это же вы... Я люблю вас, люблю...» Ах, звонок! Пансион пробуждается.

## V

*В больницу.— Доктор, фельдшер, служитель Салимбай.— «Без начальства».— Ночь.— Смерть Шолохова*

— Господи, пошли мне серьезную болезнь, — молился часто я в пансионе. — Пошли самую серьезную болезнь, чтобы попасть в больницу и хворать долго-долго!

И в самом деле, как бы я ни болел, ни на минуту не раскаивался в своих молениях: до того в гимназии было мучительно-страшно.

Захворавшему у нас завидовали, быть может, так, как выигравшему двести тысяч. Хворать — на нашем языке значило не слышать учителей, не получать единиц, выговоров, не зубрить ненавистных древних исключений, — словом, значило быть счастливым.

Для того чтобы получить это счастье, делалось многое. Напившись горячего чаю, дышали зимой в форточку; приставив к груди острие ножа, смотрели на него

в течение получаса скошенными глазами, чтобы заболела голова; были и такие, которые, чтоб избежать уроков, нарочно с разбегу ударялись об угол рукой или коленом... Припоминая все это, я спрашиваю себя: ведь не все же мы были «лентяи и тунеядцы». Какова же была обстановка «воспитания и обучения», если двенадцатилетние шли на это...

Утро. Полчаса девятого. Через пятнадцать минут отправка на занятия. В швейцарской лихорадочное оживление. Несколько человек с растерянными лицами торопливо надевают пальто и бегут в больницу. (Больница тут же, во дворе пансиона.)

— Не оставит! — бормочет растерянный голос. — Если прогонят, — физику как-нибудь выучу на божьем законе, а вот геометрию... Мало будет «немецкого» часа.

— Оставит, оставит, — успокаивают говорившего. — Не уйдем, — и все. Хоть самому плешивому<sup>1</sup> жалуйся...

Бегущих в больницу малышей останавливает дядька:

— Смирнов 3-й, Ликин, Федотюк... Назад. Сейчас строиться!..<sup>2</sup>

— Да мы на минутку только, Лаврентий Иванович, — просительно твердят малыши.

— Сейчас запишу, — угрожает Лаврентий и вынимает из рукава карандаш. — Смирнов 3-й, Федотюк... — чертит он на бумажке.

Часть малышей бросается врассыпную.

В самой больнице шумно. Народу не мало. Все «чающие».

Вот у окна стоит доктор с фельдшером. Доктор — сытый, толстый, красивый; фельдшер — маленький, остроносый и юркий. Перед доктором в ряд выстроилось несколько подростков. В руках фельдшера склянка с ляписом и дугообразная кисть.

— Ну-ка, покажите горло, — говорит доктор одному из больных.

---

<sup>1</sup> Т. е. директору. (Примеч. автора.)

<sup>2</sup> К отходу в гимназию. (Примеч. автора.)

— А-а! — делает гимназист и бьется: привычная рука доктора вертит кистью в его горле.

— Теперь идите.

— Как? — удивляется гимназист.

— Это не опасно. Идите, занимайтесь. — Доктор улыбается. — Живо пройдет.

— Я... не могу, — с отчаянием говорит пансионер. — Я серьезно болен, доктор... Петр Филиппович, право.

— Э, батенька! — Доктор машет рукой. — Видите, сколько. Куда мне вас всех положить...

— А-а!.. — делает другой гимназист.

— У вас что? У вас... — спрашивает доктор.

В углу двое шепчутся.

— Если он не оставит, я все равно убегу после большой перемены. А ты вели татарину принести чаю, купите булок и ждите... Ступай пока к крану: намочи волосы и взъерошь хорошенько.

— Вам чего, мелкота? — обращается доктор к кучке первоклассников.

— Больны, Петр Филиппыч, — пищат те.

— Салимбай, дай-ка касторки.

Из-за угла показывается служитель-татарин с огромной бутылью.

В панике «болящие» улепетывают в пансион.

А вот крошечный человечек. Костлявые ручонки запрятаны в рукава куртки, лицо красное, все покрыто сыпью.

— Ну, а ты что? — Улыбающееся лицо доктора вдруг делается серьезным. — Э-э-э, — говорит он. — Сюда не ходи. Салимбай, в заразное.

Служитель берет за руку перепуганного мальчика и ведет его прочь.

— Ну-ну, — добродушно-весело говорит он. — Ничего не будит. Все будит хорошо. Иди, ваше благородие. Ай, плакать нельзя: барышням смотрит, барышням смеется... как ви думаешь, ваше благородие?..

Маленький человечек и плачет и улыбается.

В общей палате на койку ложится плутоватый под-

росток. С строгими гримасами подает ему термометр фельдшер:

— Поставьте.

Морщась, точно от боли, ставит гимназист себе градусник. Фельдшер ушел.

Осторожно, осматриваясь по сторонам, вынимает «больной» термометр и ловкими щелчками «поддает ему жару», повернув кверху ртутью.

— Тридцать восемь и пять, — шепчет он и укладывает термометр на прежнее место. — Это достаточно.

— Ну-те-ка-сь, — говорит подошедший фельдшер. Нахмурившись, долго смотрит он на градусник. Брови его поднимаются.

— Ого! — значительно цедит он сквозь зубы. — А на вид ничего... Вы не настукали?

— Ну вот, честное слово.

Фельдшер идет докладывать доктору.

— Должно быть, местная... фебрис интермиттенс, — глубокомысленно замечает он доктору.

Тот занят разговором с вошедшим воспитателем.

— Положите его. Пусть... Так вы говорите, озноб? Покажите-ка язык...

Воспитатель показывает.

— Желудочное, конечно, — определяет доктор.

В стороне с оживлением прислушиваются гимназисты.

— Слава тебе господи! — шепчет кто-то. — Кажется, захворал. Не придет на уроки. Я тебе говорил...

— А может, он не серьезно болен?

— Серьезно. Видишь, ругается.

Действительно, вышедший от доктора воспитатель обрушивается на гимназистов.

— Господа, господа. В гимназию. Сейчас звонок, а вы тут вертитесь. Что же мне, в угол вас ставить, что ли? Ведь большие... Экое мальчишество!

Воспитатель забирает от доктора рецепт и идет к пансиону.

— Петр Филиппович, — обращается к доктору кто-то

от выпускных, — пожалуйста, оставьте, ничего не знаю.

— Ах, ну, ну, — говорит доктор и осматривается. — Ведь ваших уже трое. Оставайтесь. Уж чего тут!

Счастливы скромно усаживаются в больничных покоех. Десять! Бьют часы. Из пансиона, конечно, ушли. Теперь свободно.

Разом появляется оживление. Все сходятся, как тараканы из щелей и углов. Татарин Салимбай живо устраивает стол. Здесь не пансион — стелет скатерть. Рассыпая в разные стороны прибаутки, Салимбай спешит за чаем, сахаром и булками. Старшие собираются за стол в ожидании. Начинается смех: слышны шутки. Свободно.

Чудное, счастливое время! Улыбаются даже больные «по-настоящему».

— Какой хороший барышням сейчас встретил, — смеется Салимбай, появившийся с угощениями, — глазами так и стреляет! Ай-хай-хай!

Старое лицо Салимбая полно оживления. Дергается из стороны в сторону седая клинообразная борода. Умные глаза все искрятся, все смеются. Так розовы щеки у этого старика!

— Захворал наш преподаватель, — рассказывает он, ловко расставляя на столе кружки и тарелки. — Болит печонкам, болит селезенкам... Изругал меня — страсть.

Слушая рассказы, воспитанники с благоволением осматривают больничный потолок, стены и занавески. Занавески и стены — такие же, как в пансионе, и нет на стенах ничего, кроме иконы и термометра, но дышится так свободно, и казенные стены кажутся не казенными. Подан чай.

— Салимбай, вот тебе кружка.

Скромно садится в сторонке татарин. Из аптечной комнаты доносится звон склянок и легкое покашливание.

— Евграф Тимофеевич, чай пить.

— Я сейчас, господа! — кричит из своей комнаты фельдшер. — Только соображу...

Никто не допытывается, в чем именно заключается «соображение» фельдшера. Разговор делается шумным. Салимбай пьет чай и все посматривает, не подкрадывается ли начальство.

В самый разгар чаепития входит фельдшер. Губы его улыбаются сдержанно-покровительственно, пальцы привычно играют цепочкой часов, на которой болтается побуревшая медаль с надписью: «Не нам, не нам, а имени твоему».

Евграф Тимофеевич морщит лоб. Он любит показать, что он — серьезный человек, и с этою целью в разговоры свои часто вставляет латинские цитаты и названия медикаментов.

— Сегодня я растирал, господа, кали броматум...

Конечно, его никто не слушает: кому нужно «кали броматум» старого фельдшера!

— Салимбай, а ты давал капли Сироткину? — деловито осведомляется он у служителя.

— Давал, конечно... А как вы думаешь, ваше благородие?

Все знают, что Салимбай немного подсмеивается над фельдшером. Среди гимназистов ходит молва, что познания Салимбая даже обширнее познаний его начальника...

Но сейчас — речь не об этом; так много свежих, свободных от гимназии тем! Завязавшимся разговором увлекается и фельдшер. Как и следовало ожидать, он — большой знаток в политических делах.

— Англия! — выкрикивает он, размахивая ложкой. — Она всему злу корень! Я бы ее так потрянул, что из нее бы пухляк<sup>1</sup> посыпалась!

Беседа затягивается надолго.

Вот и я лежу в больничной палате. Я — еще маленький, двенадцатилетний. Ночь. Монотонно стучат часы.

---

<sup>1</sup> Пыль. (Примеч. автора.)

Громадные окна затянуты грязно-серыми драпировками. С потолка свешивается унылая казенная лампа. От ее абажура на белой стене раскинулась черная тень, похожая на фантастическую птицу. Желтый деревянный, тоже казенный, стол стоит посреди комнаты.

Лежу я на тощем мочальном тюфяке. У меня лихорадка, и больничный фельдшер надавал мне хины в огромных облатках, похожих на серебряные рубли. Одну из них я кое-как проглотил, остальные две спрятал под матрасом кровати.

В голове стучит. Поташнивает. Давит грудь.

Дззн... дззн... дззн... — звенит в ухе, точно над головой ведет свою песню назойливая оса. Дззн... дззн... Тошнит. Кружится голова.

Это оса... Их было так много. Огромные синие ставни готических окон были усеяны их красивыми гнездышками. Наш милый, милый старинный дом! Когда мы приехали туда в первый раз, — в первый раз почувствовалось, что в деревне тихо.

Прежде — городская жизнь: родственники, знакомые, грохочущая мостовая... Здесь — бесконечно тихо. Спят маленькие крестьянские избы, спит тополевыи лес, давным-давно заснул наш старый помещичий дом.

Я не помню того, что было в нем нехорошего. Я забыл. Не хочу вспоминать.

К этому дому, как к старому, чуть живому старику, я не чувствую презрения.

Огромные двери, молчаливая таинственная пустота длинных сумрачных комнат; сырой, тоже таинственный воздух нежилого дома. Портрет улыбающейся красавицы с прекрасными кудрями. «Красавица, кто ты? — говорю я теперь. — Кто целовал твое лицо, твои смеющиеся губы? Я не знаю твоего имени. Скажи мне, как ты жила здесь, какая из комнат была твоей, где ты спала, где одевалась? Не ты ли читала эту маленькую французскую книжку? Когда и зачем ты умерла?» Жутко.



Дззн... дззн... — в комнату снова ворвалась оса. Вот она носится над моей головой. Дззн... дззн... Тошнит. Тяжело.

Старый служитель возится на кровати. Кажется, спит он плохо. Ему грезится дом. Уж десять лет, как он не был на родине.

В прошлом году у него умерла жена, а перед этим сына, рабочего, убило молнией. За что?.. Дззн... дззн... Опять эта противная оса!..

Как пахнет липами! Милое бледное лицо матери. Она тихо, печально улыбается и гладит меня по голове. Вот еще лицо. Старое, больное, изморщенное. Слезятся глаза.

— Сына-то мо-его убило! — Старуха плачет. — И на похороны нету... Нет ни копейки.

Унылое тяжкое причитание звенит в голове. Давит сердце. Беспокойно возится на кровати и вздыхает старик.

Когда мне сказали, что у нас в пансионе умер ученик седьмого класса Шолохов, мне ничуть не было страшно. Умер, значит, умер. Все умирают. Больше я не думал ни о чем.

Случилось это утром. У старшего за моим столом во время чая все дергалось лицо и кружка стучала о зубы. Кто-то всхлипывал в зимнем сумраке. Воспитатель сидел, не прикасаясь к чаю, и неподвижно смотрел перед собой на скатерть. Ждали инспектора. Служители ходили тише обыкновенного и говорили какими-то особенно свистевшими голосами.

Прибыл инспектор.

Нас, маленьких, заперли в младшей «занимательной» и не выпускали долго. И только подростки, мы узнали, что Шолохову грозило исключение из гимназии. Но из-за чего он умер? Это осталось для нас тайной.

Увидели мы Шолохова только на отпевании. В приемной комнате стоял гроб, и из желтого ящика глядело на нас бледное лицо. Больше мы ничего не видели.

Горели большие свечи. Пришел священник. Тихо говорил с инспектором и учителями. Дьякон режущим слух басом тянул похоронные мелодии; тихим жалобным тенорком подтягивал ему священник. Сначала я смотрел, как у поющего дьякона багровела от натуги шея. Потом страшные слова молитв, заунывные напевы охватили меня... С ужасом и тоской я начал молиться.

— Ленев, — раздался за мной чей-то хриплый голос. Я не сразу обернулся.

— Ленев, подтяни брюки! — громким шепотом приказал мне дядька. — Все оттоптал.

Сурово и обидчиво дрогнула душа. Что он сказал?.. И когда?.. Умер человек, а он... о чем он думает? Или то, что человек умер, — неважно? Или умер не человек? Внезапно и жутко выяснилось, что в громадном каменном мешке я совсем одинок, что те, кто меня любит и понимает, далеко-далеко, а здесь, вокруг меня, чужие, суровые, нечуткие и недобрые люди...

## VI

*Еще о жизни в пансионе.— Во дворе.— Баня.— Танцы.— Спевки.— Спектакли.— «Изводки»*

В продолжение восьми лет наша казенная жизнь проходила по преимуществу в четырех местах: в пансионе, в гимназии, в пансионском дворе и на улице. Последнего было, конечно, всего меньше. Бывало, сидишь после обеда за книгами, вдруг звонок.

— Во двор! — кричит звенящий дядька, обходя «занимательные». — Господа, воспитатель приказал во двор.

Мы поднимаемся. Обыкновенно подрастающие двора не любят. Они любят гулять по улицам.

— Что интересного, — говорят они, — в арестантском дворе.

Двор был довольно большой, обнесенный каменными стенами и действительно похожий на двор тюрьмы. Стоявшим посреди его древнейшим, ежеминутно грозившим

обрушиться, бревенчатым цейхгаузом<sup>1</sup> двор разделялся на две неравные половины. Одна представляла из себя собственно сад, — там были акации, несколько лип и цветник эконома; другая половина, ограниченная с противоположной от пансиона стороны конюшнями, баней и сараями, именно и называлась двором. Это было пустое немощеное место, предназначенное для игры в «лапту», в «лошадку», в «чижика» и т. п.

Собственно двор был предоставлен мелкоте. Младшие играли там в мяч, дрались и бегали, старшие же уныло прогуливались под липками или балакали с фельдшером.

Бывало, во дворе, за цейхгаузом, гомон, крики, суетня... под липками же чтение и тишина необыкновенная. Разве только забегут двое малышей втихомолку поиграть в «бабки» или в «свайку», и опять тихо.

Некоторое «оживление» в пансионское однообразие вносила баня. В баню воспитанники ходили два раза в месяц; каптенармус каждому клал в его клетку смену белья, любопытную одной особенностью: вместо носков ученикам давались портянки, то есть грубые тряпки-онучи. Не привыкшие к этим портянкам малыши подчас бились подолгу, прежде чем отправить обмотанную тряпкою ногу в казенный сапог.

Полагалось каждому пансионеру в микроскопической дозе и мыло. Мыло это бралось у каптенармуса с бою: иным удавалось в суматохе захватить и двойную порцию. Торопливо и с гиком неслись воспитанники в баню, чтобы захватить себе место. Если не переждать сутолоку и войти в это время в предбанник, можно было наблюдать оригинальное зрелище. Полутемная комната аршин в семь длиною оказывалась набитой пятнадцатью — двадцатью гимназистами. Одни стояли на полу и тут же раздевались; другие теснились, раздеваясь, по лавкам. Буквально некуда бывало просунуть руку. Пальто каждого гимназиста служило ему в то же время своеобраз-

---

<sup>1</sup> Цейхгауз (нем.) — в армии склад оружия или обмундирования.

ным чемоданом; в нем укладывались: шапка, калоши, башлык, верхнее платье, пояс, сапоги и вся смена чистого белья. Все это кое-как свертывалось в трубку, завязывалось рукавами пальто и ожидало прибытия омовенного хозяина. Где раздевались, тут же, конечно, и одевались вымывшиеся; случалось, что в это время являлась новая партия жаждущих бани; морозная струя воздуха охватывала зимой выбравшихся с раскаленного полака... Как только мы жили! Как не умирали, — достойно примечания.

В самой бане стоял ад еще горше предбанного. Десятками сидели на полу, иные кричали от духоты на полке, немногие счастливыцы попали на скамьи... Одни, конечно, дрались, другие плакали из-за потерянного куска мыла, третьи хлестали друг друга вениками... Такие бани забываются не скоро.

Перебирая в уме другие детали пансионского житья, я не могу обойти молчанием танцы. Но танцы являлись неприятностью лишь для меньшинства, для бирюков, прятавшихся от танцмейстера под кровати спален. К числу таких бирюков принадлежал и я. Непонятно мне было, зачем это люди кружатся, обнявши друг друга, и при этом еще притопывают ногами. Особенно неприятно было глядеть на танцующих во время перерыва музыки: казалось, пара здоровых людей внезапно сошла с ума, — до того неестественны и нелепы были их движения.

Танцы у нас преподавались таким образом: раз в неделю в пансион заявлялись два старичка, чрезвычайно друг на друга похожие. Оба были седенькие, оба плешивые, оба одеты во фраки, оба с длинными носами и оба пропахшие нюхательным табаком. Но была и разница: один был громаднейшего, почти саженого роста, другой был мал как аршин. Маленький был танцмейстер, громаднейший был его скрипачом.

Когда оба они появлялись в «занимательной», пансионеры шептались:

— Пришла сахарная голова с привеском.

Громадный садился в уголке на стуле и в продолжение часа или двух тоскливо пиликал что-то на скрипке; а маленький выстраивал нас в шеренги, чудовищно вывертывал нам ступни ног и заставлял приседать или двигаться с вывернутыми ногами, выкрикивая под щемящее душу пиликанье скрипки:

— Первый шассе! Второй шассе! Третий шассе — и шаг назад! Первый шассе! Второй шассе! Третий шассе — и шаг назад!

Сначала мы, конечно, ходили как медведи; потом я убежал и еженедельно прятался; весьма же многие изучили «шассе» и затем под то же нытье скрипки выделяли цепь самых странных движений, называемых танцами. Иногда в танцы вмешивался один воспитатель, бсродатый красавец и жентильом<sup>1</sup>, кудрявый, пропахший персидской сиренью и униженный перстнями. Воспитанники оживлялись тогда необыкновенно.

— Авансе! Рекюле!<sup>2</sup> — выкрикивал воспитатель, носясь между гимназистами словно угорь. — Авансе, каррисиме, квид тиби вис<sup>3</sup>.

Последние слова латинской фразы составляли его любимую поговорку. Галстук тогда съезжал у него на затылок, фалды вицмундира оттопыривались, как у селезня... Признаюсь, я выходил в такое время из своего убежища и прикивал к дверям, любуясь на воспитателя-танцора!



Была в нашей жизни еще неприятность: спевки. Регентом<sup>4</sup> хора был у нас какой-то молодой белоку-

<sup>1</sup> Жентильом (франц.) — господин, дворянин.

<sup>2</sup> Авансе! Рекюле! (франц.) — Вперед! Назад!

<sup>3</sup> Дражайший, что тебе надо! (Примеч. автора.)

<sup>4</sup> Рэгент — руководитель хора.

рый человек, по фамилии Ручкин, служивший некогда учителем чистописания. Лицо у него было беленькое, глаза косенькие, и припадал он на одну ногу... а спевки, как и многие регенты, любил до безумия.

Когда нас в первый раз согнали в приемную комнату на пробу голосов и появился Ручкин, улыбавшийся, тихий, со скрипкой под мышкой, — нас взяла оторопь. Более сметливые поняли, что попасть в певчие — значит ходить на все церковные службы. Стало быть, маленький, умильно улыбавшийся человечек вовсе не был так прост, как это казалось с первого взгляда... Решив это, каждый вел себя уже с осторожностью.

Так, когда регент настроил свою скрипку и ласково попросил: «Ну-ка, миленький, протяни ноту», — каждый старался издать ее таким звериным голосом, что регент откатывался и, махая руками, говорил с огорчением:

— Не годится, нет!.. Не благоутробие!

Только немногие попались тогда на удочку и были немедленно произведены в певчие.

Но если звериный голос освобождал от пения в церкви, то это еще не значило, чтобы он освобождал от пения вообще. Напротив, наше начальство призывало к пению «безгласных и бездыханных»: не проходило недели, как в наш пансион являлся со скрипкой регент Ручкин, и всякий из обитателей обязывался петь по силе возможности.

— Господа, пожалуйста на спеуку, — приглашал регент, обходя «занимательные» комнаты. — На спеуку, на спеуку.

Кто мог, прятался в самых укромных местах верхнего этажа; остальные же были забираемы регентом и отводимы в сад или в одну из «занимательных» для хорового пения. Впереди становились обыкновенно официальные певчие; за ними размещались просто пансионеры. Регент задавал тон, и начиналось хоровое пение.

Пели мы разное, но преимущественно, конечно, песни патриотического содержания. Так, особенной популярностью среди начальства пользовались: русский народ-

ный гимн, «От Урала до Дуная» и еще одна песня, начинавшаяся так:

Светлой радостью горя,  
День торжественный встречайте!..

В фаворе была и следующая песня, правда, не совсем складная, но достаточно благозвучная:

Знают турки нас и шведы,  
И про нас известен свет.  
На сражение, на победы  
Нас всегда герой ведет.

Нам всегда внушалось петь именно «ведет», а не «ведёт», чтобы не нарушалось благозвучие песни, если в рифмах и были недочеты, зато давала песня доброе настроение.

Мне жаль, что я уже забыл теперь, как ставились у нас спектакли. Я помню только, что игрались у нас пьесы на греческом языке и ставились с хорами и танцами, причем подвыпившие артисты-восьмиклассники твердили, как говорят, все время с разными интонациями одни и те же греческие фразы и ожесточенно стучали жезлами, изображая афинских царей, а какой-то преподаватель физики, напрягая свое искусство, пускал из коридора, ведущего в уборную, на артистов «заходящее электрическое солнце»; помню еще, как подвыпивший Эдип<sup>1</sup>, выпустив угрожающую греческую фразу, вдруг, по условиям сцены, растянулся подле будки суфлера, не больше уж и не вставал, до самого занавеса; вспоминаю, как ставили мы «Бедность не порок»<sup>2</sup>, и Любим Торцов рычал, изображая плачущего, в воспитательском халате; припоминается также, как, по указу начальства, играли мы пьесу императрицы Екатерины II «О вре-

---

<sup>1</sup> Эдип (греч. миф.) — фиванский царь.

<sup>2</sup> «Бедность не порок» — пьеса русского драматурга А. Н. Островского.

мя!», от которой осталась у меня в уме одна фраза: «Колико для тебя чувствительно...» В заключение мы ставили тогда живые картины на тему державинской «Фелицы»<sup>1</sup>, и для Фелицы, помню, отыскивали самого тучного из всех пансионеров... Фелица показывалась мурзе, как водится, в сиянии, и курились, по положению, «маки благовонны», и появлялась Фелица в красной ленте, которая ссужалась на это время супругой директора... Больше не помню я ничего.

Раз дело пошло на увеселения, я должен сказать и об «изводках» воспитателей.

Под названием «изводки» разумелись у нас те «сюрпризы», которые готовились учениками особо нелюбимым воспитателям в отмщение.

Старшая «занимательная». Одиннадцатый час вечера. Все старшие гимназисты улеглись в постели и разговаривают. Не занята только постель воспитателя Свищова. Долговязый семиклассник Тихон Копылов сидит на кровати воспитателя в одном белье и готовит ему неведомые муки, наливши в туфли воды и зашивая рукава древнейшего халата.

— Теперь будет ему, толстоносому, — говорит Тихон Копылов, основательно зашивши все отверстия халата. — Не станет небойсь ставить колы.

Прочие воспитанники с наслаждением ожидают «симфонии».

— Будет, довольно, — говорят некоторые злодею.

Но Копылов не унимается: забравши в руки плевательный тазик с песком, он кладет его меж подушками в изголовье воспитателя и начинает свертывать в клуб длинный половик спальной комнаты... Получается огромный клубок; притворив двери в спальную, с громадными усилиями подкатывает Копылов к двери клуб и едва успевает юркнуть под одеяло, как доносится звон

---

<sup>1</sup> «Фелица» — имеется в виду ода Г. Р. Державина, посвященная Екатерине II.



медных подсвечников. Мы знаем, что это идет с двумя зажженными свечами в руках воспитатель, имеющий к тому же под мышками пуки тетрадей с *extemporalia*<sup>1</sup>.

Решительный момент близится. Все задышались от наслаждения. Все закрылись одеялами с головами, оставив только небольшие щелочки для глаз.

Звон приблизился.

Воспитатель толкнул дверь. Жалобно звякнули друг о друга подсвечники.

— Лаврентий! Капрал! Василий! — кричит воспитатель, делая усилия проникнуть в спальную.

Вот легкий шум. Клуб откатывается, и в раскрывшиеся двери с криком летит воспитатель. Со звоном падают на пол медные подсвечники. Туча ученических тетрадок взвивается на воздух, и точно снегом покрывается пол вокруг павшего воспитателя. Зацепившись за клубок, он опрокидывается вверх ногами и кричит во весь голос:

— Лаврентий! Сторожа! Дядьки!

Сбегаются сторожа, распутывают клуб, собирают тетради, подсвечники и помогают воспитателю подняться на ноги.

— Идите, идите! — говорит задыхающийся от испуга и ярости воспитатель и, тяжело дыша, начинает приоткрывать одеяла над лицом каждого «спящего» по очереди, желая по выражению лица узнать злоумышленника. Воспитатель ходит и трясущейся рукой откидывает покрывала. Тщетно горящие огнем глаза жгут лица заговорщиков. Черты лиц неподвижны, и прочесть о содеянном нельзя.

---

<sup>1</sup> *Extemporalia* (лат.) — контрольная работа по латинскому языку в гимназиях.

*О военной гимнастике.— Прогулка первого мая.—  
Выступление, прибытие, явление попечителя,  
качанье учителей*

Характерной особенностью тех годов, в которые я «воспитывался» в гимназии, был памятный всем пиетет милитаризма. Отголоском его в нашей «гражданской классической» гимназии явилось необыкновенное пристрастие к гимнастике. И не к обычной гимнастике, а к специально военной, к фронтовому учению.

Мало того, что учению этому зачастую посвящались целые «классы», — заботливое начальство назначало маршировки даже в самые неурочные минуты: во время, например, большой перемены.

Обыкновенно перемены, то есть интервалы между уроками, были недолгосрочны: по пяти минут; зато большая перемена, во время которой ученикам предлагалось завтракать, продолжалась полчаса. Наскоро перекусив, многие из воспитанников спешили прорепетировать предстоящие уроки; не тут-то было: трещал барабан, появлялся офицер, учитель гимнастики, и помощники классных наставников начинали расхаживать по классам с криками:

— Строиться на гимнастику.

И не только малыши, но и самые великовозрастные, даже выпускные, обязывались выстраиваться в шеренги и выделять всевозможные «па» и артикулы.

Гремел барабан, и размеренными шагами, от которых содрогались пол и гимназические стены, проходили воспитанники, от мала до велика, перед восхищенными глазами учебного начальства.

Может быть, преподаватели древних языков видели себя в это время разными Мильтиадами и вспоминали

Марафоны и Кавдинские ущелья<sup>1</sup>; может быть, директору грезились под бородой блестящие ордена... Только гимнастика шла, и все громче и громче отстукивали ноги воинствующих граждан.

Надо сказать, что все более или менее подростки гимназисты относились к этого рода упражнениям с особенной ненавистью. Когда я был еще маленьким, мне доводилось быть свидетелем столкновения выпускных с инспекцией по поводу этой гимнастики; инспектор приказывал строиться, — восьмиклассники не шли; но вскоре «веяния времени» стали суровее, и сообразно этому мельчал протестующий народ. В мое время артикулы были в полном расцвете и протесты выражались только за спиною инспектора...

Только раз в году военную гимнастику встречали все с нескрываемым сочувствием. Это бывало в день первого мая, когда вся гимназия, учащая и учащаяся, отправлялась на весеннюю прогулку.

Майская прогулка обыкновенно назначалась накануне, и к ней деятельно готовились как гимназия, так и пансион. Гимназия усиленно репетировала разные «равнения» и «марши», пансион заготавливал провизию, кастрюли, самовары, салфетки и скатерти (последнее, конечно, для учителей).

С раннего утра обнаруживалось в пансионе самое праздничное настроение. Особенно веселилась мелкота: идти под музыку, имея в перспективе яблоки, и главное — целый день не учиться, то есть не отвечать латинских вокабул и не получать единиц, — все это было слишком заманчиво.

К девяти часам на площади перед гимназией выстраивалась огромная толпа гимназистов. Полчище делилось на взводы и шеренги (боюсь, что я перезабыл военные

---

<sup>1</sup> Мильтиад (550—489 гг. до н. э.) — афинский полководец, разгромивший персидское войско в знаменитой битве при Марафоне. В Кавдинском ущелье в 321 году до н. э., римское войско было вынуждено с позором сложить оружие и пройти «под ярмом» между двумя рядами скрещенных копий своих противников — самнитов.

названия); у каждого взвода, у каждой шеренги стояло по начальнику из старших учеников. В отличие от подчиненных они надевали на гимназические блузы офицерские пояса.

Предводительство принадлежало, конечно, директору, но на практике бывало в руках учителя гимнастики.

Выступали гимназисты в таком порядке.

Шествие открывалось директором и учителем гимнастики. За ними шел капельмейстер<sup>1</sup>, затем следовал оркестр духовой музыки, после этого тянулись шеренги маленьких гимназистов, за которыми выступал «средний возраст». Процессия заключалась старшими.

Гремит музыка; окруженные уличными мальчишками, идут по-военному гражданские гимназисты. Облака пыли вылетают из-под усердных сапог. По бокам идут взводные начальники, инспекторы и учителя. Вот полчище проходит по главной улице; из дверей магазинов выглядывают аптекари, бакалейщики; бранятся извозчики и седоки, которым процессия преградила путь.

Мы идем по немощеным переулкам; пыльные облака превращаются в тучи; на лице инспектора во всех морщинах образовались серые полосы; мы все идем и идем. Вот мы за городом. Сигнал. Остановка. С удовольствием рассаживаемся мы на молодой весенней траве. Кое-кто вынимает из карманов закуску. «Стройся!» Опять идем.

Идем мы и час и два; наконец всеми овладевает апатия. Кажется, все будет равно, если прикажут идти и неделю и месяц. Что ж, так и будем переставлять ноги, увязающие в пыли... Палящая духота.

Но вот в лицо повеяло сыростью. Близка река. Вон лесок, пансионный обоз. Трубят. Остановка. Кончено. Все укладываются чуть не на тех местах, где остановились.



<sup>1</sup> Капельмейстер — руководитель духового оркестра.

Однако надо вставать: вдали слышны крики. Пансионские служители раздают гимназистам из громадных корзин по половине французской булки. В один миг около корзины — несметная толпа, крики, шум, давка. Трепчат под напором гимназистов корзины; вот служители опрокинуты. Идет расхищение казенного добра. Более сильные захватывают по две и по три порции, запихивая булки за пазухи. Увещения классного наставника недействительны: тщетно записывает он ослушников в памятную книжку. В стороне на деревянных столах расставлены пансионские кружки. Один из служителей засыпает в каждую порцию песочного сахара, другой цедит из огромного чайника чай, третий доликает кипятком. Кружки расхватываются с бою. И здесь смятение, и здесь шум. Где же учителя? Наставников нет.

Если тайком прибежать к черному крыльцу близ стоящей порожней дачи, можно увидеть немало любопытного. Накрывается белоснежною скатертью стол; десяток служителей устанавливает яства и питье.

Невольно вспоминается державинское:

Там пышный окорок вестфальской,  
Там звенья рыбы астраханской...

Все это для наставников.

Во время обеда (гимназистам в это время скромно предлагается по котлете или по куску жареного мяса) в порожней даче делается шумно. Стулья уснащаются преподавателями и их женами; идут ароматы от гастрономии и вина. Разговор, как водится, делается непринужденным. Лица розовеют, лица улыбаются... Синусы, косинусы и ут консекутивум<sup>1</sup>, вы позабыты.

Среди воспитанников, однако, появляется некоторое разочарование. Но можно ли быть сытым от щедрот казны? Вот почему все, кто только мог, запаслись «финансами». К их услугам разные торговцы: покупается сыр,

---

<sup>1</sup> Ут консекутивум — в латинской грамматике союз, вводящий придаточное предложение следствия.

ветчина, хлеб, лакомства; здесь же, в сторонке, предлагаются лимонады и квас... Отойти немного подальше, к леску, — пиво; несколько шагов к речке, — водка. Разумеется, тайные маркитанты<sup>1</sup> всегда начеку. Установлены наблюдательные пункты. Если же и тут промах, — «пъется чай». «Вот-с чайничек, вот-с самовар».

Впрочем, здесь не до ревизии: преподаватели празднуют сами. Притом и элемент все надежный: средние да старшие воспитанники.

Среди празднования вдруг разносится как гром из ясного неба:

— Едет попечитель!



Трежит барабан, режут трубы. Быстро сбегаются с разных сторон гимназисты. Строятся шеренги. Собираются и заалевшие преподаватели. Учитель гимнастики волнуется и ищет потерянную саблю. По пыльной дороге несется коляска. Как флаг веет серая борода.

Строй готов. Еле стоят подле шеренг наспиртовавшиеся взводные. У иных намочены головы, иные, «посвежее», сделали себе, с позволения сказать, «фридрихс-хераус». И все «чисто», как оно и требуется.

Из подкатившей коляски высаживается супруга попечителя. Вот и он сам. Идет по флангу.

— Здравствуйте, гэсь-пода!

— Здравия-жела-ваш-пр-ство! — совсем по-военному выкрикивают гимназисты.

После этого нас, как ученых медведей, заставляют «дефилировать» перед лицом высшего начальства. Гремит музыка. Раз-два! Молодцами проходят гражданские гимназисты.

— Молодцы, гэсь-пода!

И как бы в награду за «отменное состояние» появ-

---

<sup>1</sup> Маркитант — торговец, следующий в военное время за войском; повар в харчевне.

ляются корзины с маленькими, плюгавыми, кислыми казенными яблоками.

— Урра!.. — разносится по полю.

Уже на глазах высшего начальства происходит разгромление корзин. Около яблок — живая человеческая каша. Серая масса кишит подле опрокинутых корзин; слышны крики, писк, вопли. Служители отошли: дай бог унести ноги. Шумно... но — этот маленький либерализм!.. Если хотите, он даже хорош, этот маленький либерализм!..

— Я довьёлен... довьёлен... — Тускло блестят холодные важные глаза.

С растопыренными руками, точно оберегая драгоценный хрустальный сосуд, идет позади и вокруг «свита». Двери пустопорожней дачи закрываются.

Старшие отходят — кто в лесок, кто на речку. Но вот сигнальный рожок. Что такое? Правда, не все гимназисты, но многие идут на зов.

Попечитель — в пестрой цепи дам.

Спотыкаясь, бежит на цыпочках какой-то дряхлый преподаватель. Без шапки. Тощая вспотевшая шея. Жалко семят ноги.

— Его пр-ство изволил...

Дальше ничего нельзя разобрать.

— Музыка! Музыка! — кричит кто-то.

Вокруг музыкантов собирается толпа.

— Рьюсский наръёдный гимн.

Все снимают фуражки.

— Гэсь-по-да... хорь-ом!

Все затягивают хором.

— А теперь... танцы...

Мигом очищают классные наставники площадку для танцев.

— Рьюсскую... Ка-заччье!

Воспитанники мнутя. Преподаватели «внушают». Вот выходит мальчик лет четырнадцати. Одобренный мальчик!

Гремит музыка. Мальчик танцует «казачка».

— Я довв-ёлен... довв-ёлен...—Качается из стороны в сторону серая борода.

Подается коляска.

— Здра-жела-ваш-пр-ство!

Коляска уносится прочь.

Вечереет. Стихает палящая жара. Старшие гимназисты бродят особыми кучами и о чем-то шепчутся. Проходит инспектор. С криком и ревом набрасывается толпа на старика. Лицо инспектора дергается от гнева и страха.

— Качать, качать! — режут голоса.

Мгновенно вся площадка покрывается гимназистами.

— Назад! Стойте, я... или...



Инспектор не договаривает. Лысая тщедушная фигурка взлетает на воздух. Вот на заходящем солнце сверкнула лысина. Сморщенное охающее лицо мелькнуло и исчезло. Взметнулись ноги. Взвились фалды. Кончили. Инспектор бранится. Но подле никого нет.

Поправляя разорванное платье, прихрамывая и почесываясь, спешит инспектор к порожней даче. Если он был нелюбим, — в процедуре «качанья» были ощутимы и неприятности. Инспектора брали «на сжатые кулаки».

Завидев «начало», прячутся учителя. Раз в год, только раз в год покорные питомцы «системы» делают не покорными. Инспектор, директор — все равно. Вот вскинули на воздух нелюбимого классика. Вскинули высоко и — разбежались. И печальное и отвратительное зрелище.

Вот, отмахиваясь зонтиком, бежит от подвыпивших гимназистов «сам». Чтобы не уронить своего достоинства, он старается выступать солидно и выбрасывает ногами круто, как призовой рысак. Но у самой дачи он вдруг сробел и побежал.

Поймали. Грузно вскинулось тело директора. Нет сомнения, что упадет он на «кулаки». Вот он повернулся



в воздухе и летит на поднятые руки выпуклым животом. А вот, прихрамывая, бредут два гренадера: историк и математик. На спинах вицмундиры разодраны надвое, на лице ссадины.

Поздно вечером расходятся гимназисты.

## VIII

*Последний год.— Впечатления.— Весенняя подготовка.— Экзамены.— К университету.— Заключение*

Последний год! Как звучит это мягко и зазывно! Последний год — это значит, что придет новая весна, и я буду новым человеком, далеким от серой форменной блузы, от форменного пальто, от фуражек с веточками, именуемых «кепи», от латинского и греческого языков, от математики и сморщенного желтого инспекторского лица... Придет весна — и я не буду слышать: «В карцер! Без ужина! Без матраца!» Не буду выслушивать грубой ругани, издевательств, насмешек... Я никогда больше не войду в двери гимназии...

Но прежде чем достигнуть свободы, предстояло пройти сквозь строй всевозможных испытаний. Уж многое написано об этих экзаменах; делались затем и известные послабления и опять шли назад, в нашу же жестокую эпоху всевозможные испытания были в самом цвету. Испытаний набиралось так много, что к концу их от и без того нежирного классического гимназиста оставались буквально кости да кожа.

Я забыл теперь точное число тех экзаменов, которым мы подвергались в свое время при выпуске из гимназии, а пересчитать число их вновь по программе, каюсь, недостает сил. Кажется, испытаний было около двух дюжин. Первая дюжина была «письменная», вторая — «устная». При всей своей антипатии к тем и другим эк-

заменам должен все же отдать некоторое предпочтение испытаниям письменным: сидишь все-таки за столом, есть время подумать, педагоги хотя и наведываются, но, в общем, находятся далеко.

Когда же на «устном» вытянут сажени на две зеленый стол да усядутся за ним в линию медные пуговицы, — тут на забитого и задерганного гимназиста нападёт такая жуть, что все синусы и котангенсы обращаются в какой-то липкий блин.

И чего-чего только не выделявали воспитанники из чувства самосохранения! Я не говорю уж о том, что иметь «подстрочник» или другое «пособие» ставилось чуть ли не в обязанность всякого порядочного гимназиста; что обмануть бдительность экзаменатора считалось чуть ли не отпущением грехов; в памяти благодарного ученичества были живы имена многих «сподвижников», изобретших новые способы к «облегчению» экзаменов или пожертвовавших, во благо потомства, свои сочинения на разные темы<sup>1</sup>.

«Независимо сего», как любил выражаться наш директор, для успеха в экзаменах практиковались надписи на программах, на рукавах, на ногтях, на ладонях. И однако, идти под глаза «сычей» бывало настолько страшно, что многие пили валериановые капли или завязывали себе зубы, чтобы «экзекуция» продолжалась возможно меньше.

Должно быть, даже начальство признавало особую серьезность выпускных экзаменов: для пансионеров-восьмиклассников отводилась на время подготовки особая комната. Слыла молва, что комната эта во время оно была неприкосновенна: будто бы воспитатель не имел права не только ревизовать ее, но даже в ней и появляться; далее, подготовлявшиеся восьмиклассники могли

---

<sup>1</sup> Сочинения эти переписывались обладателями их, при совпадении темы, почти слово в слово, и так шло из года в год. (Примеч. автора.)

не являться по звонку к чаю, освобождались от вечерней и утренней молитв... В мое время от всей этой «свободы» существовали лишь печальные воспоминания; воспитанники, правда, поговаривали о том, чтобы не приходиться на общие молитвы, но стоило лишь появиться воспитателю и сказать: «Господа, на молитву!» — и все уныло-медленно пошли на зов.

Однако и в наши суровые времена эта эпоха подготовки была достаточно интересна.

Ведь в это время обыкновенно уже цвела весна. Выпускные не ходили на занятия, все остальные гимназисты еще учились.

Помню. Прозвенел звонок. Внизу послышался шум. Одеваются. Сидя во втором этаже, мы слушаем этот гул с удовольствием: скоро уйдут. Вот легкое пререкание с воспитателем на почве калошного топота. Рывкнула дверь: швейцар выпускает «баранов». Опять стук. Дверь захлопнулась. Тихо. Во всем пансионе, не считая служителей, мы одни. Нет дядек, нет воспитателя. Чудесно! Тонкое ощущение тихой радости наплывает на душу.

Одни из товарищей пьют чай, другие уже читают, разлегшись на постелях пансионских спален. Вот кто-то, мелкорослый, уместился в окне и гудит над книжкой. Более беззаботные что-то напевают. Мы одни.

Горячо весеннее солнце. Не хочется сидеть в комнатах. Накинув в швейцарской свое ватное пальто<sup>1</sup>, мы выходим во двор. Пальто, разумеется, не от холода: куда! — двадцать градусов жары. Мы пользуемся пальто как подстилкой, чтобы улечься с книгой «в тени акаций». На деревьях юная зелень, по ветвям перелетывают голуби, задорно кричат воробьи... Так не хочется читать книги! Так и смотрел бы в яркое, молодое весеннее небо с тающими в высоте белоснежными тучками... А тут: «Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов».

---

<sup>1</sup> Летних пансионерам не давалось. (Примеч. автора.)

Небо, — и какая-то гипотенуза!.. Однако нельзя думать о небе... надо думать обязательно об этой чудовищной гипотенузе.

Нежно свешиваются к лицу задумчивые ветви радующейся липы. Зачем я обязан знать, что при восклицании ставится по-латыни винительный падеж, а не знаю, как растут чудесные липы и как оплодотворяются бледные чашечки сонных лепестков?

Лениво кружится над книгой шаловливая бабочка. Она ищет места, чтобы сесть и отдохнуть, кружится над зияющей алгеброй и словно не решается присесть к этим мертвым теоремам. Вот она села — и сейчас же торопливо, точно сознав свою ошибку, летит прочь. Знаешь ли ты, как не хочется заниматься алгеброй, милая бабочка?..

«Тангенс С, котангенс Д...» Вот из деревянного ящичка осторожно выползает экономовский кролик. Он очень умно складывает свои длинные ушки и дельно посматривает вокруг. Вот он подползает, обнюхивает руки. Он хочет есть.

А что он ест? Ей-богу, не знаю. Я не знаю ничего, кроме того, что покрыто плесенью тысячелетий, того, что мне нужно знать еще только каких-нибудь два месяца... Как живет кролик, чем живет? Каково у него кровообращение? Не знаю. Да что там кровообращение кролика!.. Я не знаю точно, как живу я сам, сам здесь

лежащий и читающий алгебру. Я знаю, что у меня есть сердце, потому что сердце мое замирает перед уроками математики; а как живет и как действует это сердце, — нет, не знаю. Меня не учили. Если сейчас этот малыш, сын капитанармуса, упадет с лестницы, на которой балуется, и сломает себе ногу, я окажусь при нем бесполезен, как дерево. Мальчик истечет на моих глазах кровью, умрет, а я буду только метаться и кричать. Зато я знаю наизусть латинские предлоги.

— Мальчик умер! Почему вы не помогли вовремя?



— Потому что я знаю наизусть латинские предлоги.  
Я знаю только это!

— «А» координирует, «Б» субординирует...

— Что вы бормочете, Петров?

— Жарко.

— Противно!

— Жарко и противно. Прощайте.

— «Алкивиад был богат, и знатен»...

— Бросьте это, Сокольский.

— Нет, что же... Уж надо...

— Право, бросьте. Пойдемте лучше водки выпьем.

— Жарко.

— Да будет, не ломайтесь. Пашка достал зубровку.  
Знаете, через соломинку... Уговорил?

— Идемте.

...С улицы слабо доносится треск экипажей. Всего только одна стена, — и на свободе. Стена бы не беда, но на плечах целый ворох книг: теоремы, аксиомы, переводы... Надо обязательно перешагнуть через них, иначе перед глазами вырастет другая стена. С высоты льется невинная песня. Жаворонок, как ты сюда попал? Зачем? Ты не ошибся? Видел ли ты наш старый деревенский дом, пролетал ли над ветхими избами русского мужика? Это не ты пел ему песню над его «осминником»? <sup>1</sup> Не ты рассказал, как умер с голоду Влас Горюнов? Нет, об этом в наших книжках ничего не написано.

«Дальше Гоголя не идти!» — вот «руководящие» слова. Я вижу перед собой надменное лицо директора. Директор быстро размахивает из стороны в сторону указательным пальцем и говорит:

— Дальше Гоголя не идти!



Посреди двора, на куче щебня, сидит, щуря подслеповатые глаза, «ночной капрал». Он все время словно

---

<sup>1</sup> Осминник — старая русская мера земли, равная четверти десятины.

к чему-то прислушивается и угрожающе постукивает клюкой, неслышно что-то говоря.

Нам известно, что недавно у него умерли на заводе оба сына. Что слушает и что шепчет несчастный капрал? Вот вихляющими шагами подходит к капралу фельдшер. Видно, что ему тоже нечего делать. И именно оттого, что ему нечего делать, фельдшер дотрагивается рукой до лба капрала и потом щупает ему пульс. Я подхожу.

— Англия! — говорит фельдшер. — Она всему злу корень. Я бы ее так потрянул!..

Я отхожу: вещь известная.

С площадки цейхгауза доносится гудение. По скрипящим, еле живым деревянным ступеням поднимаюсь я на терраску. Несколько восьмиклассников лежат за книжками на распростертых по полу пальто.

— Тише, господа, — говорит кто-то. — Терраса жиблется.

Я смотрю вниз: высоты две сажени! Терраска действительно покачивается. Как это мы еще целы!

...На следующее утро я встаю в два часа ночи. Какая это ночь! Совсем светло. Открываю окно. Свежо, чудесно... цветет небо, и цветет душа. Бегаёт чуть заметный ветер, — полный сладкой тоски ветерок. Так не хочется зубрить! В распахнутом окне уже засели два товарища. Однако они не читают. Что это? «Секретный разговор». Смеются. Я подхожу. Перед глазами картина: на крыльце цейхгауза спят под тулупом двое. Это служитель Прокопий с женою. Отхожу. Слишком уж чисто на внешнем воздухе. Прошло десятка два лет, а он все еще точно струится по душе.

Идут экзамены. Мы пишем, списываем, стараемся позаимствовать друг от друга чем нужно, для чего сходимся в заранее условленных местах, бросаем друг другу посредством резинок шпаргалки... и всегда поражает во всех экзаменах одно и то же: случайность, несообразность, бездоказательность.

Вот свалены письменные экзамены. Слава богу, хоть

половина позади. По этому случаю устраивается пирушка; пьют много водки, но главное еще впереди.

Одно за другим проходят и устные испытания: перед началом трепещешь, во время ответа ненавидишь. Сидят так спокойно, смотрят в глаза так холодно-бесстрастно... Вот — смятение: идет окружной инспектор. Прыгают на щеках сивые бачки, усмешка кривит сухие старческие губы. Сел. Протирает пенсне.

— Не знает! Не знает!

— Нет, я знаю, — говорю я. — Я только спутал, потому что не спутать нельзя.

— Пссю... — презрительно шикает инспектор.

Директор глядит на меня строго: можно ли так отвечать вышнему начальству?

Однако я делаю над собой усилие и припоминаю. Экзамен сходит благополучно.

Близится лето; а с летом растет и уверенность: все кончится!.. Вот еще только два испытания. Только одно. Кончилось последнее! Шатаюсь, я выхожу из гимназии.

Куда? Я не знаю. Да разве это не все равно? Нет больше гимназии! Кто это? Ах, это тоже кончившие! Что это они едят? Мороженое? Хорошо, пусть будет мороженое. Что же из того, что сливки отзываются скипидаром: в маленьком садике так хорошо! Вот кто-то идет. Какое чудесное на этом чиновнике форменное пальто! Неужели это акации, а это скамья, на которой сижу я, я, окончивший гимназию? И неужели это барышня идет: какая смуглая и тоненькая у нее шейка!.. Или это ангел сбежал с того облака беленький? Разве человек может так улыбаться? Боже мой, как хорошо жить, милая барышня!

— Собирай, ребята, деньги, — командует коротенький Чумаков, — и чтобы никто и не смел думать меньше трешницы.

Что ж, трешница так трешница. Какие славные пичужки! Неужели это простые воробы?..

В садовой беседке шипит насос. Толстая буфетчица наливает в кружки какой-то диковинный лимонад. Ли-

монад так и отзывается купоросом... Но неужели умереть в первый же день окончания гимназии?..

Зовут к обеду. Нет, куда! — разве можно обедать в этот день?

Громадной толпой спускаемся мы к реке.

Вот несколько лодок. Мы не торгуемся с хозяином. Кто может теперь торговаться?

— Смотрите не утопите, — добродушно говорит хозяин и улыбается.

Смешной старик! Кто пожелает утонуть, окончив весь гимназический курс?..

Около рулевых — целые горы кульков с бутылками, жестянками и хлебом. Кто-то сел на стаканы. Все равно.

Отчаливаем.

Вот мы на середине реки. Будет пьянство, — это безобразно. Будут петь казарменные песни, но — гимназия позади! У инспектора вдруг стерлось лицо и между шеей и форменной фуражкой просто воздух — какая-то невесомая пустота... Река смеется, река лепечет. Зачем поют эти деревья, лодка и дрова?

. . . . .

В памяти у меня еще только одно. Покончены все формальности, мы уж навсегда вне гимназии и пансиона и прощаемся с начальством. Навсегда!..

Мы стоим в коридоре перед актовой залой и ожидаем прощальной речи директора. Выходит он, важный, надутый, вицмундирный. За ним стоит Николай Петрович, письмоводитель гимназии.

Директор останавливается прямо перед нами. Для парада нацепил он на шею какой-то громадный крест.

— Вот вы кончили гимназию, — говорил он. — Радуюсь вашей радости, остальное скажет Николай Петрович.

Директор ушел.

Мы были настроены торжественно, — теперь мы смеемся. И все? Бедный! Все его бюрократические «горизонты» сказались в этой фразе.



Впрочем, может быть, директор был прав. О чем говорить? Что мог он сказать нам? И мы ему и он нам — были ли мы чем-либо иным, как только «входящими и исходящими нумерами»? Что нам Гекуба и что Гекубе до нас? <sup>1</sup> Те, кто еще не был забит до потери сознания, знали и без того, что ответы — не в гимназии, что ответы надо добывать самим. Впереди виднелся и путь: столицы, университеты. Грезилось что-то настоящее и одухотворенное; верилось, что раз пережитое не будет переживаться вновь и что все темное, злое, несправедливое и уродливое невосвратно отошло в область забвения.

---

<sup>1</sup> Искаж. слова из трагедии В. Шекспира «Гамлет» (сцена с актерами); Гекуба — царица Трои, жена Приама, мать Гектора и Париса, описанная в поэме Гомера «Илиада».

## КРАСКИ РОДИНЫ

В самом начале двадцатого века, в преддверии первой русской революции, ровно за шесть лет до нее, в московской газете появилось новое писательское имя, это был двадцатилетний студент Николай Крашенинников. Рассказ назывался «Лесной сторож», позднее переписанный автором наново и публиковавшийся под другим заглавием — «Ночлег». Сам по себе этот немудрящий рассказ, объемом всего-то в несколько страничек, не мог бы привлечь читательского интереса, если б не его глубинная направленность к показу чего-то необычного, свежего. Какой-то похожестью на тургеневскую прозу веяло от него: тот же охотник с собакой и ружьем, те же пейзажные густые краски, только география резко менялась. Молодой автор рисовал не центральную Россию, а далекую ее окраину — глухую Башкирию. Этот рассказ стал начальным в большой и нелегкой писательской судьбе Николая Александровича Крашенинникова, по словам самого автора, он «положил начало целой серии очерков из малоизвестной жизни далекой Башкирии, в художественной форме повествовавших о жалком угасании под пятою самодержавия когда-то свободного и богатого кочевого народа».

Башкирии, можно сказать, повезло на писателей. Ее прекрасный народ, живописная природа, тяжелая, но не лишенная своих радостей и своей вековой мудрости жизнь башкир — нашли широкое отражение в произведениях выдающихся русских писателей. Пушкин и Толстой, Аксаков и Чехов, Успенский и Горький, Мамин-Сибиряк и Бажов — каждый из них оставил о Башкирии и башкирах свои вдохновенные, наполненные страстью строки.

Поистине, настоящего писателя время поднимает на пьедестал памяти народной. В истории русской литературы много блистательных имен, и в один ряд с ними, даже через запятую, могут встать только те, чье творчество было высокохудожественным, а строки полнились горячим участием и болью к судьбе Родины и сердце билось во имя блага народного.

Именно к таким писателям относится Н. Крашенинников, вставший на защиту башкирского народа в тяжелейшие дни царского деспотизма и тирании.

Одним из высших проявлений человеческой зрелости является верность дружбе народов — интернационализму. В этом отношении Крашенинников стоит в том же ряду, что и Пушкин, Толстой, Чехов. Чем крупнее писатель, тем глубже и острее душа его проникнута состраданием к боли других народов. Первая книга писателя «Угасающая Башкирия», увидевшая свет в 1907 году, была полностью посвящена беднякам-башкирам, живущим в труднейших условиях и гибнущим под пятою наступающего капитализма. С глубоким состраданием пишет Крашенинников о башкирах, о их нелегкой жизни, о стихийно назревающем сопротивлении.

Завидна судьба этой книги, она стала историческим документом, свидетельским показанием русского писателя о беспросветной действительности прошлых лет, о бедах и лишениях собратьев-башкир.

Величавая красота Башкирии, ее горы и леса, раздольные степи в буйстве цветов и султанах серебристого ковыля встают перед взором читателя этих рассказов. Но сама по себе природа не главное в них, хотя так же, как и у И. Тургенева в «Записках охотника», пейзаж и краски родных мест играют значительную роль в раскрытии идейной сути всего цикла рассказов.

Писатель всем сердцем любил ту землю, где родился, где впервые вдохнул воздух родной земли и впервые осознал себя человеком под одним, общим для всех людей солнцем. Он родился в небольшом уральском городке Соль-Илецке 14 ноября 1878 года. Но из-за всяческих конфликтов в семье детство свое провел в селе Петровском, где родилась его мать Мария Николаевна Крашенинникова, и село это писатель считал своей родиной. Даже позднее, когда учился в Московском университете, он часто во время каникул приезжал сюда, где вплотную соприкасались друг с другом раздольные оренбургские степи и вековые урманы Башкирии.

Легенды и сказки, задушевные песни и героические предания далекой старины, услышанные здесь, на всю жизнь запомнил Николай Крашенинников, умело использовал их в рассказах и очерках, в своем романе «Амеля», повествующем о жизни башкирской девушки. Любовь к Башкирии, к ее людям прослеживается едва ли не во всем творчестве писателя. Не случайно поэтому, будучи уже больным, в августе 1941 года, в самом начале Великой Отечественной войны, он приезжает в Уфу и сразу приступает к работе. Крашенинников задумал новую книгу о социалистической Башкирии, о ее расцвете, связанном с Октябрьской революцией. Уже несколько лет назад у писателя возникла мысль создать книгу в письмах «Новая земля». Это должна была быть правдивая книга о любимой им Советской Башкирии...

Он сел за рабочий стол в тесноватом номере гостиницы «Башкирия», положил перед собою чистую бумагу, взял карандаш... И побежали по страницам новые строки зарождающегося произведения...

«Маленький уверенный пароход делает мягкий уклон и вступает в устье реки Белой. Вот уже Башкирия, сказочная страна, в которой я не был 25 лет. «Старый охотник», сорок лет назад зарисовавший Башкирию голода и разорений, Башкирию «колонизаторов», «хазретов», «курая» и «калыма», вновь вступил в пределы Башкирии, но уже не «угасающей», а возрождающейся, зацветающей ярким цветом свободы и культуры».

Приведем самые последние строки, написанные здесь, в Уфе, оставшиеся лежать на столе после неожиданной смерти писателя.

«Однако кругом новые улицы и новые дома. Массивы домов совсем не напоминают «угасающие» времена Башкирии, как не напоминают о них и новые улицы, носящие имена создателей новой жизни. Улица Ленина, улица Кирова... Как понятно-трогательно содружество этих имен с именами Пушкина, Гоголя, Достоевского, — содружество, вводящее искусство и литературу в государственный план республики труда.

Все старое кануло в вечность, вокруг все новое и нового так много, что мысль на несколько мгновений теряется: с чего начать? Вопросительно я осматриваюсь на площади и вдруг слышу за собой мягкий, курлыкающий, словно горличный, смех. Оборачиваюсь...

С притаенным, приглушаемым городским шумом, воркующим смехом, мимо меня проходят парами крошечные белые человечки. Все они в белых пальто и белых шляпах, похожих на грибы, все они пробираются площадью на Пушкинскую улицу и, беззаботно курлякая, проходят куда-то вниз мимо величественного здания правительства Башреспублики.

— Дети! — вот с кого я должен начать свои письма! — говорю себе. — Дети Новой Башкирии, молодая поросль молодого освобожденного народа, — вот первые строки, которыми должна открыться новая книга о новой Башкирии.

Осторожно, не подавая вида, что слышу, я иду за крошечными белыми человечками вниз по Пушкинской улице. Черноволосая тонкая девушка, почти девочка, в белой куртке, в белой шляпке ведет эту смеющуюся кучку горлинок. Самой старшей из них лет пять, младшие едва ли насчитывают в своей жизни три лета.

— Башкирский Детдом, — услужливо объясняет мне кто-то из прохожих.

Я продолжаю продвигаться за человечками-грибками.

Вслед за ними в алмазно-голубом жарком небе плывут стайками белые лебеди — сияющие перистые белые сентябрьские облака...»

На этом рукопись оборвалась... Карандаш выпал из рук... Страницы эти были написаны 1 октября 1941 года, а на следующий день прямо за рабочим столом Николаю Александровичу стало плохо. Через несколько дней, утром 11 октября, он умер в номере 102 гостиницы «Башкирия».

Земля башкирская, которую он так любил, приняла прах русского писателя.

Если поглядеть с внешней стороны на его биографию, кажется, что писатель этот, выпестованный и взлелеянный прошлым, девятнадцатым веком, был не очень-то богат своим жизненным опытом, страдания и потрясения судьбы обошли его. Тихое и беззаботное детство в старинном имении оренбургского села, годы учебы в гимназии, наполненные шалостями безобидной юности, затем — университет, цejная на всю жизнь любовь к жене Варваре Петровне...

Но это видимая сторона, на самом деле, без надрывной боли души писателя нет и не будет. Если благополучна его личная судьба, то душа, отзывчивое сердце болят за народ, за любимую Родину. Именно эта боль заставляет Крашенинникова заняться общественной деятельностью, ему мечталось основать такой журнал, где бы можно было говорить правдиво и откровенно, к тому же, чтоб журнал расходилсЯ среди простого народа, и цену назначить ему самую малую.

В грозном 1905 году вышел первый номер такого журнала под названием «Новое слово». В журнале стали сотрудничать ведущие писатели И. Бунин, А. Серафимович, С. Скиталец и многие другие, пользующиеся широкой популярностью среди читателей. В передовой статье о растущем недовольстве народа в России говорилось: «Наш журнал будет защищать всеми силами интересы трудящегося народа...»

Вот как вспоминает то далекое время жена писателя Варвара Петровна Крашенинникова (ее рукопись в черновом варианте недавно передал мне сын писателя Николай Николаевич, живущий сейчас в Москве. А. Ф.): «Шло огромное, новое, что давно началось, что горело в сердцах декабристов. В том же Мамоновском переулке, где мы жили, ближе к Трехпрудному, работала типография Левинсона: там печатался наш журнал. Типографщики любили редактора этого журнала, внимательного к жизни каждого. Однако мы получали и анонимные письма, в которых грозили редактору «Нового слова» убить его, если он не прекратит издания своего журнала... Читая подобные письма, я очень боялась, когда Николай Александрович выходил на улицу поздно вечером и долго не возвращался. Подойду к окну, вижу: какой-то человек останавливается на углу улицы, внимательно смотрит на окна нашей квартиры... Мне становилось страшно...

После статьи в журнале Н. И. Тимковского «Свобода, равенство и братство» редактору «Нового слова» было предложено покинуть Москву, а журнал был арестован и издание его воспрещалось...

— Нам надо уехать из Москвы, — сказал он мне тихим голосом.

— Я знаю, дорогой... уедем.

— По моей просьбе, — объяснил он, — мне разрешили жить в Башкирии, в селе Петровском, где я родился.

— Поедем в Башкирию, — тут же согласилась я.

Как не жалеть этого кроткого в жизни и такого сильного в деле замечательного человека!»

В том же году они приезжают в село Петровское. В неопубликованной рукописи Варвары Петровны идет подробное описание тех безоблачных дней, когда они жили в Оренбуржье, встречались, как всегда, с башкирами, участливо расспрашивали о их жизни, ходили удить рыбу, собирать ягоды.

«— Мы словно спим с тобою здесь, Тася, под солнцем Башкирии, вдали от города, от моего любимого журнала, — сказал он, и слова застыли, остановились в горьком молчании.

— Быть может, скоро разрешат вернуться, — успокаиваю его.

— Придется переменить название...»

Вместо журнала стали выходить литературно-художественные сборники, а позднее на их базе было организовано товарищество — «Книгоиздательство писателей».

Еще до Великой Октябрьской революции у Крашенинникова вышло собрание сочинений в восьми томах. Туда вошли и роман «Амея», и рассказы о Башкирии. Читая их, видишь всю глубокую боль души русского человека за судьбу братьев-башкир. Каждая их строка, предельно правдивая, звенит натянутым нервом. В ней боль, тревога, чуть ли не приятие собственной вины за столь тяжкую судьбу обездоленного народа. Тем и дороги эти рассказы — правдивейшие документы времени, потому и ценили Н. А. Крашенинникова, как писателя, и тепло отзывались о нем Чехов и Бунин, Горький и Фадеев.

...На фоне других произведений — романов, пьес, рассказов, созданных Н. Крашенинниковым, — две его небольшие повести о годах детства и учебы в гимназии под общим названием «Невозвратное», изданные единственный раз еще до революции, выглядят, может быть, несколько бледнее в первую очередь своей социальной направленностью. Особенно это относится к первой — «Из вешнего времени». Но, по-видимому, писатель, работая над ней, и не стремился поставить перед собой другой задачи, кроме показа далекого, безоблачного детства в теплом гнездышке давным-давно пришедшего в упадок некогда обширного барского имения.

Удивительной нежностью веет со страниц этого повествования о детстве, проведенном в селе Петровском, что привольно раскину-

лось близ границы Башкирии и Оренбургской области. Здесь прошло розовое детство будущего писателя, здесь он впервые познал красоту и прелесть родной земли. И эти края, необычно красивые своей природой и людьми, навсегда войдут в его сердце.

Мило и трогательно описывает Крашенинников природу окрест села: тихие камышовые речки, глубокие озера, пойменные луга и уремы, наконец, старую, полуразвалившуюся барскую усадьбу, где, по всей вероятности, жил дед писателя — известный ученый-натуралист, много сил и знаний отдавший исследованию животного мира Оренбургского края.

Вот на этом фоне проходит детство трех братишек из повести «Невозвратное».

Контрастом милым картинам детства стоит рядом вторая повесть «Восемь лет» о годах учебы в гимназии. В главном персонаже повести Павлике Ленева сразу же угадывается не кто иной, как сам юный Коля Крашенинников.

Надо думать, как тяжело было такому избалованному «маменькиному сыночку», выросшему на лоне природы, из этой сельской идиллии, где чай со сладостями, ягодки со сливками, окунуться вдруг в прогнивший мир старой гимназии. Солдафонство и грубость воспитателей, казенная тупость учителей, подлость и лесть, обман и зубрежка, унижительные обыски — все это не могло пройти бесследно, пагубно сказывалось на характерах и душах гимназистов. Многие из них, как бледные побеги выросших без солнца растений, выделялись хилостью и болезненным видом в толпе остальных городских ребят, живущих под крышами родных домов на глазах заботливых родителей. Восемь лет оскорбительных унижений и грубости так подействовали на ранимо-нежного мальчика, что и спустя много лет, вспомнив гимназию, он пугался, а увидев во сне давнишние кошмары, вскакивал с постели весь в холодном поту.

К теме детства, к теме гимназических лет обращались многие русские писатели, показывая в своих произведениях все убожество старой, дореволюционной системы обучения. И эта небольшая книга Н. Крашенинникова вносит свой штрих, дополнительные краски в описание гимназических порядков в царской России.

Неприкрытая правда жизни заключена в последних строчках этого повествования: «Те, кто еще не был забит до потери сознания, знали и без того, что ответы — не в гимназии, что ответы надо добывать самим».

АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВ

# СОДЕРЖАНИЕ

ИЗ ВЕШНЕГО ВРЕМЕНИ . . . . .	5
ВОСЕМЬ ЛЕТ . . . . .	93

## ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

**Николай Александрович Крашенинников**

### НЕВОЗВРАТНОЕ

Редактор *Ю. Андрианов*  
Художник *Е. Прокшин*  
Художественный редактор *И. Файрушин*  
Технический редактор *Н. Заринова*  
Корректоры *Л. Сулейманова, Э. Сулейманова*

ИБ № 3472

Слано в набор 27.02.87. Подписано к печати 15.04.87. П07434.  
Формат бумаги 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага тип. № 3. Гарнитура школь-  
ная. Печать высокая. Условн. печ. л. 9,24. Усл. кр. отт. 9,66.  
Учетн.-издат. л. 8,48. Тираж 100 000 экз. Заказ № 66. Цена 25 коп.  
Башкирское книжное издательство. 450000, Уфа-центр, ул. Со-  
ветская, 18. Уфимский полиграфкомбинат Госкомиздата Баш-  
кирской АССР. 450001, Уфа, проспект Октября, 2.